

84Р6

Г96

Юрий
Гусинский

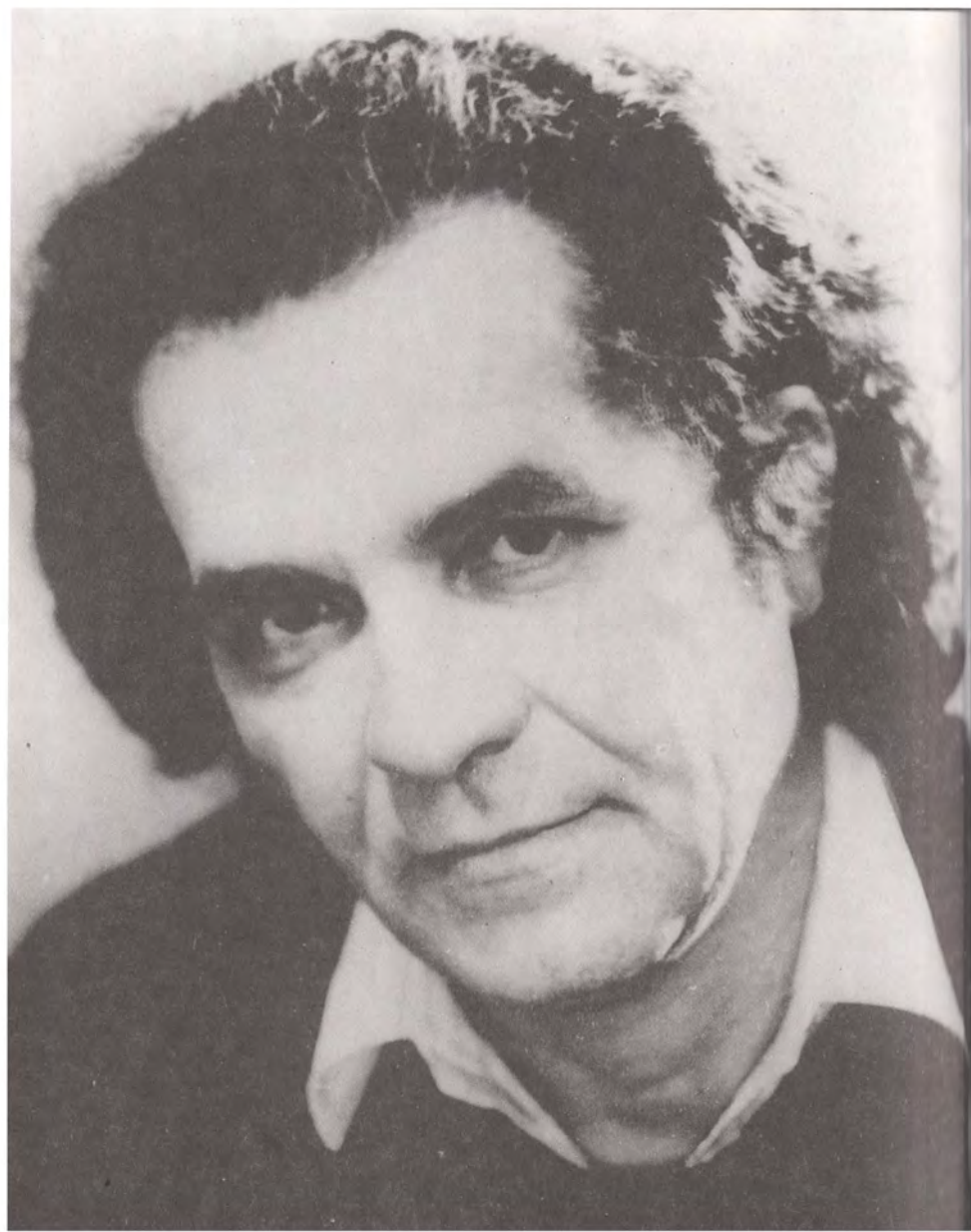


БАКЕНЫ
ЛЕТА

518624







Юрий Гусинский

БАКЕНЫ ЛЕТА

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Предисловие и послесловие Татьяны Ребровой

«КЛЮЧ»
Москва
1998

ББК 84(2Рос=Рус)6

Г 96

УДК 882-1

*Издание подготовлено Т.А. Ребровой и
осуществлено на ее средства*

Оформление и иллюстрации
В.Н. Сергутина

518624

Гусинский Ю.Я.

Бакены лета: Стихотворения и поэмы. Предисловие и послесловие Т. Ребровой. М.: Ключ. 1998. – 224 с. ил.

Г 96 ✓

Юрий Гусинский родился 3-го декабря 1940 года в Петропавловске, умер в ночь на 1-е января 1998 года в Москве. Он жил в России, деля ее судьбу, как делят кусок хлеба на двоих. Две эпохи его и ее судьбы – перекладные одного креста. А вот что думают и чувствуют, неся его, что происходит с душой, когда распинают на нем – это уже содержание его книги. Она своевременна, как свеча в доме, когда перегорели пробки, а за окном – ночь.

ISBN 5-7082-0042-1

© Гусинский Ю.Я. 1998

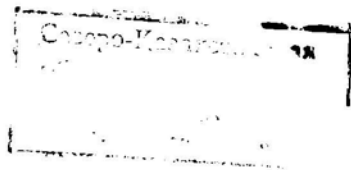
© Сергутин В.Н.

Оформление. 1998

ISBN 5-7082-0042-1



9 785708 200426



В конце 90-х Юрий Гусинский был известен больше как организатор, генератор идей и редактор газет "Оракул" и "Незримая Сила". Как он сам говорил о себе в одной из своих поэтических радиопередач: "Сейчас я очень много занимаюсь альтернативными науками, которые и науками-то еще не признаны. К примеру, парапсихологией. Но одновременно изучаю мифологию, антропософию, теософию. Как человек, теперь глубоко верующий в Бога, надеюсь найти ответы на многие вопросы. Религия обращается к сердцу человека — и в этом ее притягательная, ее милосердная сила. Наука — к разуму. И в этом ее мощь. Если наука и религия противостоят друг другу, то никто из них победить не сможет. Религия без доказательств? А наука без надежды? Наука докажет существование Бога через третью ипостась нашей Троицы — Духа Святого. Святой Дух пронизывает сейчас всю землю. Вы скоро убедитесь — насколько он силен.

Сейчас в моде экстрасенсорика, биоэнергетика. Что для меня биополе? Это светящийся поток живого организма, переходящий друг к другу. Каждая клеточка у нас имеет мембрану. Существует резонанс космосу, всей вселенной, Богу. И мы должны воспринимать Бога всем-

своим существом. В этом у меня предназначение России. Космический маятник качнулся в начале века — и Россия ушла в наиболее крайнюю точку отрицания. Сталинизм для меня — крайняя степень язычества. Но космический маятник качнется в другую сторону — и именно в России возникнет новая, обновленная, общая для всех религия.

Все надежды я связываю с Россией. И никуда из нее не уйду. И что для меня сейчас поэзия? Это поток божественной любви. И для меня сейчас самое важное Любовь, томление и обращение через это томление к Богу.”

В этой книге стихотворная хронология будет нарушена для взгляда, поступательно шествующего по миру. Времена и даты будут существовать как бы в параллельных, прорывающихся друг в друга измерениях. Наконец, успокоившись каждое в своем, но и тогда бросающее отблески друг на друга, как свет из хлева, где родился Иисус, падает на наши рождественские снега. Мистерия времени. Но он, Юрочка, знал к ней ключик: Народ в его бытие и быту, воссоздающих Бытие России. Магию поэзии Юрочка использовал для того, чтобы так называемое простонародье обрело конкретные биографии. Для того, чтобы никого не замело временем, которое настолько бессердечно, что в противовес белой магии памяти творит черную магию забвения. Юрочка боролся с ним за память о каждом. Как жаль, что здесь не будет его поэм, обжитых реально жившими людьми и до сих пор еще живущими. И все равно вторая часть книжки его стихотворений как будто прокрутит нам фильм-хронику.

И при этом работающем, как фотовспышка, сознании история эпохи эмоциональна, как слеза над пожелтевшей фотографией.

И суть времени кровоточит, как стигматы верующего.

Жизнь поколения, как неграмотный, оставила вместо подписи отпечаток пальца, указующего на отдельного человека, тебя, Юрочка, и тех, кто жили с тобою и вокруг тебя. Дактилоскопия времени.

Я настаиваю, что рядом с учебником истории должны лежать романы, стихи, поэмы, без которых эта история может оказаться рядом пыльных фактов, не имеющих значения даже для себя.

Поэзия Юрочки именно та художественная литература, которая, как электрический разряд остановившееся сердце, заставляет биться эти факты и делает историю своего времени живым помощником и защитником. А Юрия Гусинского мучил вопрос: “Что же случилось с народом, добрым и гордым вчера?” И опять так жаль, что здесь не будет его ранних поэм.

Но когда в борделях бородатые мужики кощунствовали святой водой, когда из знамен шили бикини для проституток, когда торговали медалями голодных стариков и тех, на починку обелисков которых ни у кого не было денег, я почти сходила с ума от жалости и любви, видя, как разрывая себе сердце, ты уходишь в свои мучительные последние стихи и поэмы. И там, под золой потерь, под болью, растерянностью и сомнениями искал надежду и оправдание прожитым годам и грядущим. Ты, Юрочка,

сказал одним из первых то, что потом вдруг начали говорить с экранов и страниц газет, как будто вылеченные сумасшедшие поняли, что уводить на торги кобыл из икон, потрясать исподним и священными костями из оплеванных рак грешно и совестно. Что так вызывают не дух демократии, а лишь бесов да брезгливый восторг иностранных гостей.

Ты, Юрий Гусинский, знал, что Господне презрение страшнее его гнева!

В ПАМЯТИ

В стремленье к правде — обнаженном,
В движенье к истине — святом,
Да не пребудет обделенным
Никто во времени крутом.

По горстке пепла или праха
Нам этим временем дано
Восстановить без лжи, без страха
То, что зачеркнуто давно.

Сломав молчания печать,
Дадим забытым возвратиться...
Но все ж и светлые страницы
Не вырвать, не переписать.

Но все же и грядущей силе
Отныне воля не дана
Так повернуть, чтоб мы забыли
За правду павших имена.

Дорога вдоль родного дома
Позволит разглядеть сквозь мглу
Распятых на дверях ревкома
И раскулаченных в пылу.

Такой наполнены мы болью,
Что и до дна не зачерпнуть.
Но все же – вольно и невольно –
Мы сами выбрали свой путь.

Его не скрыла лебеда –
Какая бы беда ни мстила.
И мрачной ночью нам светила
Пятиконечная звезда.

Под ней носили кони в мыле
Красногвардейскую братву...
Я не хочу, чтобы забыли
Бойца, упавшего в траву.

Под ней Магнитку возводили
Матрос и песельник в лаптях...
Я не хочу, чтобы забыли,
На чьих возрастали мы костях.

Звезда мерцает на могиле
Одна среди чужих равнин...
Я не хочу, чтобы забыли
Солдата, взявшего Берлин.

Я стану придорожной пылью,
А может, злаком на стерне...
Я не хочу, чтобы забыли
Меня на дальней целине.

Я не хочу, чтобы забыли,
Что мир, рожденный на крови,
И грозный путь – мы оплатили
Ценой надежды и любви.

Презиме



* * *

Предзимье вызнало искусство
Сводить все павшее в одно —
Что на душе черно и пусто,
Что в поле пусто и черно.

Кружит последняя солома.
Горчит созревшая стерня.
И нет ни дыма и ни дома...
Любимая, найди меня!

Стань моим домом и надеждой,
Свечу затепли на окне.
Но и слова надежды прежней
Золой осели на стерне.

Повымерзла к любви дорога,
Предзимье разметало след.
Хоть в небе нет отныне смога,
Но в нем теперь и Бога нет.

В нем, равнодушном и бездонном,
Гусиной кожей озер
Лишь отражен один бездомный,
Тепла не знающий простор.

И вещей ужас мерзлой пашни,
И времени озябший ход
Мне душу сковывают раньше,
Чем реки сковывает лед.

ХРАМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Пока та степь. Ни в чем не виновата.
Благословил целинное бытие
Храм пятиглавый – пыльный элеватор,
Прославя земледелие мое.

К нему ведут разбитые дороги,
Где золото в колдобинах гниет.
Душа не слышит боли и тревоги,
Как беркут, завершающий полет.

Я степь с утра разрезал на делянки,
Цветы ее к полудню съела ржа.
Земля отпела песню полонянки
На лезвие веселого ножа.

В мазутной кепке, в стеганном бушлате
Палаткою пригретый на авось,
Что знаю я о мщенье и расплате?
Молчит луна. Скрипит земная ось.

С нее сорвется ветер на рассвете
И станет пыльной бурей — во мгле
Мне черной метой потный лоб отметит,
Отвергнув дар мой горестной земле.

Кому и кем я отдан на закланье,
Чтоб кануть здесь пустым зерном во тьму?..
Природа — Авель, земледелец — Каин
Сошлись во мне к исходу своему.

ХРАМ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ ТВЕРДОЙ ВЛАСТИ

Смеясь и плача, как юродивый,
Над пашней сорной, павшей Родиной,
Храм всех скорбящих твердой власти с холодной
страстью возвожу.
Но все же рвы не волчьей ягодой, а красной
околоу смородиной,
Дабы пылали капли алые во тьме, подобно
рубежу.

Дорога к храму будет ржавою от стонов, но зато
державною,
Давно протоптанной конвоем в собачьем вое и
штыках.
Дорогу встретит у порога Господь, покрытый
смертной славою,
В заветном кителе военном и сокровенных
сапогах.

Молитесь, каты и сексоты, давясь восторгом, как
блевотою!
Молитесь, пыток пионеры! Молитесь, инженеры
душ!
Просите! Бог рукой отсохшею вас снова разобьет
на роты — и
Снизойдет благословенье, с вас кровь смывая,
словно душ.

Бог принял на себя не даром грех стукача и
командарма.
Так пойте ж богу аллилуйю, его целуя сапоги!
Молите! Да воздастся вам вновь по законам жить
казармы
И ясность воли и кнута вновь на свои вернуть
круги!

И не найдется исполнителя, дабы взорвать, как
Храм Спасителя,
Храм всех скорбящих твердой власти... Я не
напрасно возводил
Его в овраге горькой памяти. Но строил не в
отваге мстительной —
Хотел понять пятиконечную звезду над
пропастью могил.

Полегли голубые плоты в подъяремной тоске,
как солдаты.
Тяжкий запах распада в дыму комариной завесы.
Полегли золотые полки строевого отборного
леса...

Кто же выучил нас, чтобы двигаясь к призрачной
цели,
Никогда не считали потерь, никогда никого не
жалели!
И, как бревна, мостили собою болота Сиваша
Да снега Колымы — безымянные лучшие наши.
И, как жерди, ложились под танки в покорной
отваге,
Чтоб лихой генерал взял досрочно высоту у
Праги.
А в дремучем Кабуле железо горячее резко
Срежет русские листья с еще молодого подлеска.
Реки дальше текут вдоль горячей страды
лесосплава.
Руки в липкой смоле на закате вздымаю кроваво.

* * *

Я жаркое лето свое промотал без остатка.
Мятежные тропы пустил на распыл и оставил в
пыли за спиной,
Не плачу украдкой, но нынче мне кажется
сладкой
Тяжелая мякоть рябиновых ягод и слякоть
попыни степной.

Но, Господи, лето меня одаряло безмерно, а
вышло —
Что лишь промелькнуло?
И кто там железной поземкой метет по седым
лопухам?
Стоцветное лето, как церковь, разбито и
тягостным гулом
Поверженных звонниц уходит покорно
навстречу дождям.
Но, Господи, не упрекай меня только в
стремленье упрямом

Любою ценою корнями вцепиться в бессмертный
гранит!

О, я понимаю – не вечны ни низкие наши грехи,
Ни высокие храмы...

Зачем же надежда во мне, словно свечка в
ладонях, горит?

* * *

Я к воле, как будто в неволю,
У низких небес на виду
Пройду через русское поле,
По русской дороге пройду.

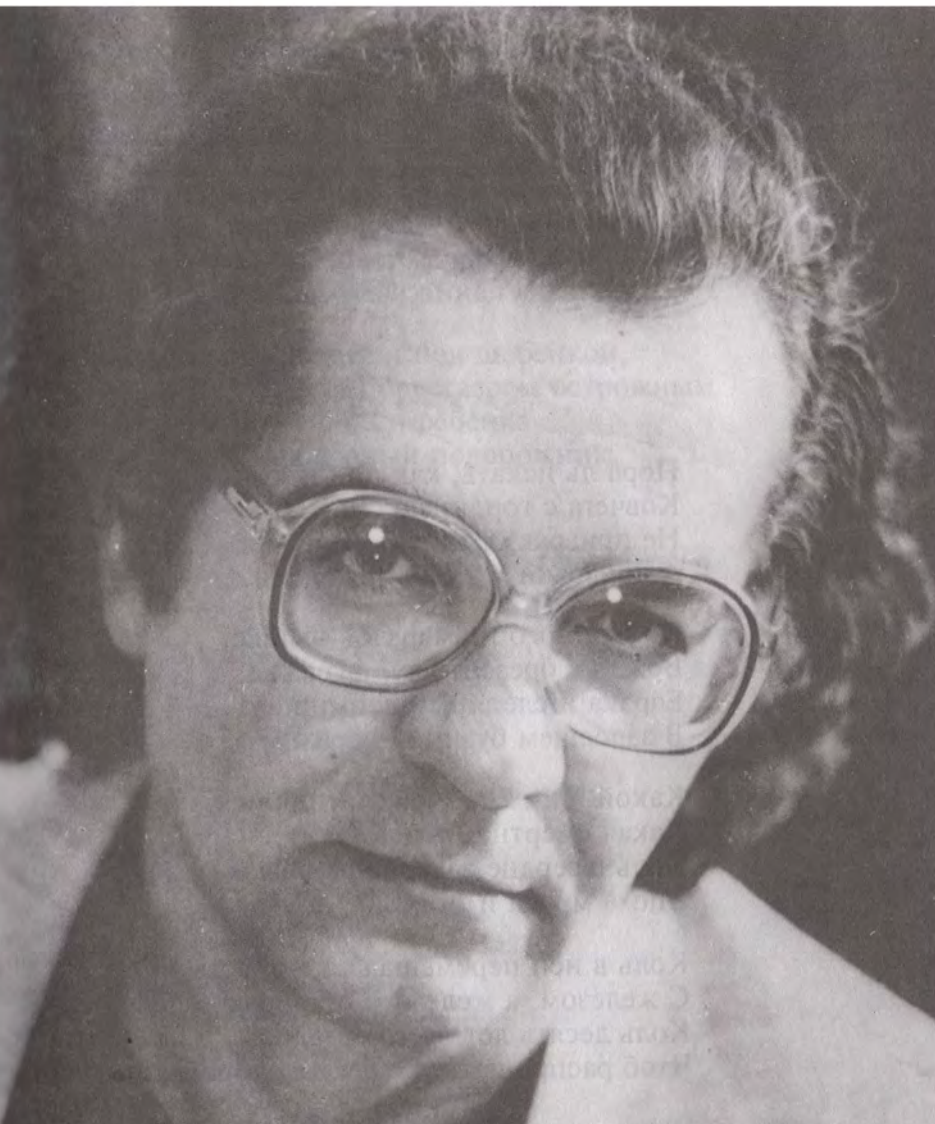
Где слева татарник лиловый,
Где справа заржавленный куст,
Где песня не ведает слова,
Где колос таинственно пуст.

Осыпались зерна, седея.
И пыль под ногами, как прах.
Здесь мне ли с веревкой на шее
Иль предку идти в кандалах?

Все спутали странные токи,
Пронзая меня со спины,
Где ели молчат, как пророки,
Забытою верой темны.

Но горбя покорную спину,
Бреду я туда, где одне
Кровавые руки рябины
Уже простирают ко мне.

Но ужас так долог и краток,
Что стал как бы и нипочем.
Но чем он так дорог и сладок?
Не знаю я в сердце своем.



* * *

Пора ль искать, как при потопе,
Ковчега с горлицею синей?
Не призрак бродит по Европе,
А призраки – по всей России:

Конвойного на мерзлой вышке,
Вождя в брезентовой фуражке,
Барака и слепящей вспышки
В заросшем бузиной овражке.

Какой в них промысел и происк,
Какая смертная угроза,
Коль в сердце завершила обыск
Эпоха мрака и мороза?

Коль в ней перемешалась жалость
С железом, а железо – с кровью,
Коль десять лет всего осталось,
Чтоб распрощаться с веком скорбным.

И, слава Богу, из-за смога
К нам ненароком не пробилась
Пророка нового дорога
Как вновь навязанная милость.

И под золой, и под щебенкой,
Под ржавым бруствером острожным
Глазами Бога и ребенка
Нас ищет юный подорожник.

* * *

Не решился на злобу и выбор,
Возлюбя в смуте этих и тех.
Словно сам себе ямину вырыл
Посредине кровавых утех.

Окружили в радении волчьем,
На правож и расправу легки.
Те хрипели: “В расход эту сволочь!”
Те велели: “Скидай сапоги!”

Посредине пропащего поля
На обструганном плохо кресте
Со смешком и поспешною волей
Распинали его те и те.

А потом порешили проститься
С телом, бившемся в дымном бреду, —
Кто-то выжег двуглавую птицу,
Кто-то вырезал жадно звезду.

Их иная съедала забота
И хлестала иная тоска
Серой очередью пулемета,
Ошалевшею сталью клинка.

Те пьянели на дикой тачанке,
Те рыдали, подняв якоря.
Те и эти ложились под танки,
Шли в застенки и концлагеря.

Долго вдовы в ночах голосили,
Да напрасно вопила тщета –
На распятых дорогах России
Не найти никакого креста.

Только где-то на брошенном поле
И заросшем бурьяном окрест,
Словно в вере, оглохшей от боли,
Притаился затерянный крест.

Кто же смачивал губы от жажды,
Кто же мух отгонял от лица,
Чтоб с креста нам явилась однажды
В скорбном лике улыбка Творца?

Как с креста его долго снимали!
Но снимали и эти, и те,

В струпьях ноги его целовали,
Чтоб опять не пропасть в темноте.

Омывали водою проточной
И в пыли простирались пред ним.
Кто он? Новый их первоисточник
Или снова забивший родник?

Но глаза их — в мольбе или гное —
Стынут в зное, как будто во мгле.
Что сказать им сегодня такое,
Что не знали они на земле?

И молчат они в сладкой тревоге...
И торчит одинокий, как перст,
Ржавый куст у забытой дороги,
Словно кровью пропитанный крест.

ПУТЬ ДОМОЙ

Звезда взлетит в зенит —
Ручей звенит в полыни.
Мой путь домой лежит
Почти посередине.

Но не найду никак
К нему дороги краткой.
Вокзал. Балок. Барак.
Подвал. Вагон. Палатка.

Казарма. Стог. Тюрьма.
Землянка. Коммуналка.
Пригреют задарма,
А выдворят — не жалко.

Вершу бездомный путь,
Неясный, словно вору,
Хочу в лицо взглянуть
Забытому простору.

По мертвым деревьям
Иду: а в них подобно
Горящим головням
Следят за мною злобно
Безумные глаза...

За гиблыми стогами
Взбешенная коза
Разит меня рогами.

Пес рвет мои порты,
Бугай сшибает грудью.
Озлоблены скоты
Уже почти, как люди.

Бурьян. Буран. Туман.
Чертополох. Поземка.
Какой из диких стран
Домой бреду в потемках?

Поразметало Русь
Ветрами, как солому.
Домой, отчаясь, рвусь.
Но нет дороги к дому.

* * *

Может быть, где-нибудь
в параллельной Вселенной
мне удастся однажды еще отыскать уголок,
где живую водой,
а не желтой кислотною пеной
закипает во время внезапных дождей водосток.

Где возможно
еще сохранились медовые травы, где снова
повезет мне упасть в них, сраженному майским
жуком;
где покуда никто
не швыряет в толпу ядовитое слово,
чтоб над сорною пашней оно прорастало
ШТЫКОМ...

* * *

Метель была почти бесснежной
И в круговерти ледяной
Угрюмый плач ее мятежно
Раскачивался за стеной.

Тоской, как оспою отмечен,
Метался ветер вдоль ворот.
И было незачем и нечем
Отпраздновать грядущий год.

Коль смена дат — лишь смена шанса
В боязни бойни роковой,
Где снова легче пасть в гражданской,
Чем падать в пропасть мировой.

И озлобление Вселенной
В метельном вое и дыму,
В кольцо сжимаясь постепенно,
Стремится к дому моему.

Рука свершенья ледяная
Уже в окно стучит, как весть,
Безжалостно напоминая —
Я временно прописан здесь.

Любимая! Опустим штору
И свечи весело зажжем,
Пусть будет недоступен шторму
Наш временный, наш вечный дом!

Нас отгородят от метели,
Грозящей с четырех сторон,
Сугробы жаркие постели
И страсти колокольный стон.

Всю ночь, всю ночь, весь век до края, —
Что станет Спасом на крови, —
Целуй, на волю не пуская!
Я если раб — то раб любви.

Я с этим знаньем за порогом
Наутро все приму, как есть —
Гнев палача, решенье Бога...
Я временем прописан здесь.

* * *

Татьяне Ребровой

В теплую морду целую коня,
Но понимаю, что песенка спета...
Господи, как ты любила меня,
Испепеляя в ночи до рассвета!

Ты меня выпила нынче до дна,
Я невесом на спине иноходца.
Туча черна и дорога пыльна,
Но без вина мое сердце смеется.

Кроме тебя ничего в свете нет!
В пляске берез вдоль дороги маячит
Только одно — полыхает рассвет,
Синие тени в подглазьях означив.

Мчится мой конь не вперед, а назад,
Яростно травы вечерние топчет,

Чтобы скорее сменился закат
Новой твоей азиатскою ночью.

Той, где тела выплывают со дна
В шепоте жарком и клятвах невнятных.
Выпита чаша. И снова полна.
И не разъяты покуда объятья.

О, не жалея ни меня, ни себя
В жажде звериной, в тоске лебединой!
Нам не погибнуть, друг друга губя
Тягой бессмертия непобедимой.

* * *

Татьяне Ребровой

Осушу твои слезы губами, изопью голубую
истому,
Обессилю обиду твою, победив тебя в нежной
борьбе.
Не ревнуй меня больше ни к прошлому и ни к
былому,
Вся судьба моя прежняя — только дорога к тебе.

Ты усни на плече моем, помнящем клейма и плети
Несвободы, почти растоптавшей меня в поцелуях
чужих.

Я прорвался к тебе, разрывая все цепи и сети,
Всюду клочья души оставляя на ветках сухих.

Знать не надо тебе, как болит она не зарастая,
Как прощенья ищет в дыхании ровном твоём.

Ты – свобода моя, ты – неволя моя золотая,
Над тобой наклоняюсь, как над чистым
последним ручьем.

Предо мной и пред Богом твоя беззащитна
отвага,
Пусть былое мое не коснется ее и во мгле.
Ты – дорога моя до последнего смертного шага,
А не будет тебя – оборвется она на земле.

* * *

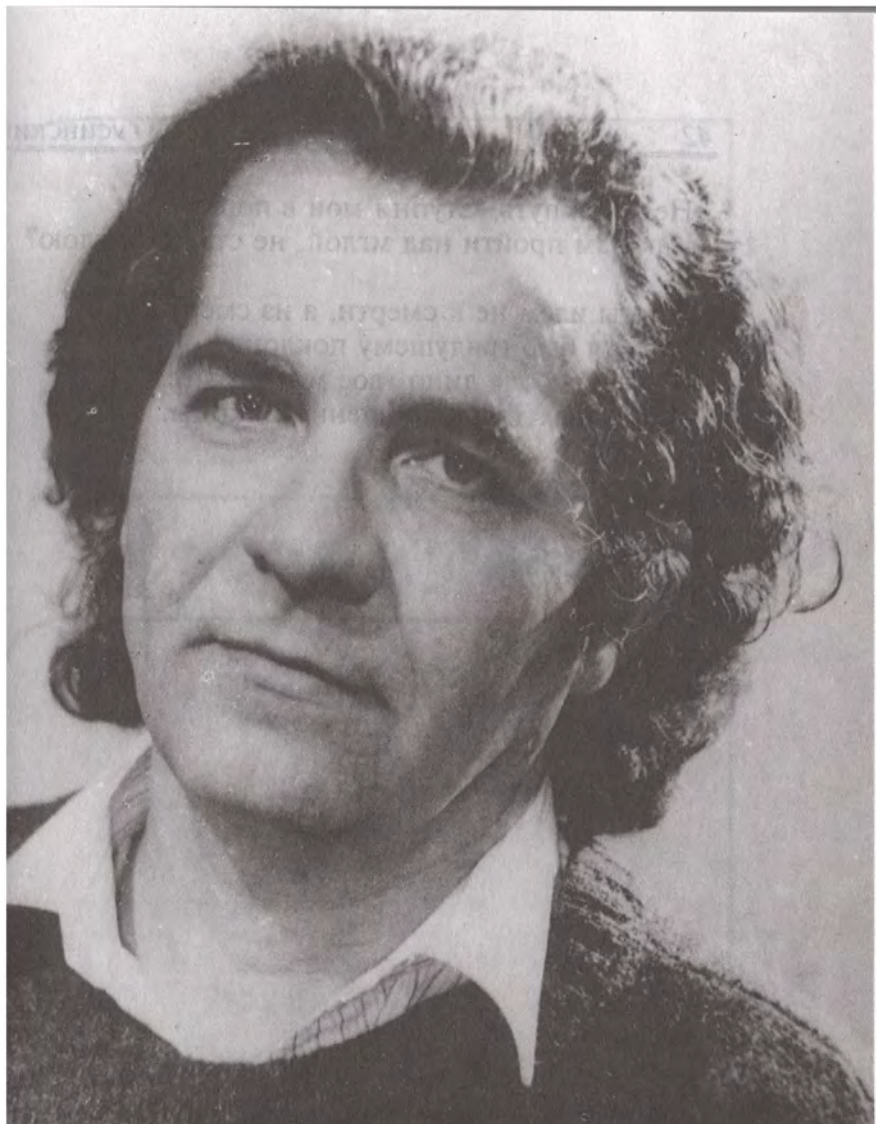
Татьяне Ребровой

В полыни храм. Часовенки косые
В чертополохе тонут. Но отныне,
Любимая, ты воспоешь Россию,
Которой не было и нет в помине.

Взыскупя песни, не взыскупя хлеба,
Шепча молитвы знойными губами...
Но песни нет, коль нет над ними неба,
Молитвы нет, коль почвы нет под нами.

Еще звонят кремлевские куранты,
Но две дороги собраны в котомки.
Любимая, мы оба эмигранты
В своей стране, обрушенной в потемки.

Не вырезать мне посох из железа,
Мне из обреза не палить в бывшее.



Неведом путь. Ступни мои в порезах.
Как нам пройти над мглой, не ставши мглою?

Но мы идем не к смерти, а из смерти —
Затем я бью грядущему поклоны
В часовне, где лицо твое мне светит
Из темных досок брошенной иконы.

Имена и фамилии



* * *

Прилечу издалека
Перелетной хмурой птицей,
Я не выдержал пока
Испытания столицей.

Я внезапно захотел
Убежать от горькой смуты,
Возвратиться в свой предел
Хоть на час, хоть на минуту.

Чтобы щеки мне ожег,
Бил крупой оледенелой
Петропавловский снежок,
Самый колкий, самый белый.

Пусть на Пушкинской, в конце,
За панельными домами,
Будет дом. А на крыльце
Снег хрустит под сапогами.

Пусть во всю дымит труба
И струится дым дрожащий.
Подели меня, судьба,
Меж былым и настоящим!

Пусть в окошке ветра след,
Что увел меня когда-то,
Нарисует мой портрет,
Помечая снегом даты.

Пусть в распахнутом пальто —
Словно крылья расправляя —
Вновь узнаю, что есть что,
Имена припоминая...

Мглой морозною дыша,
Дымом родины тревожным,
Отогреется душа
Постепенно, осторожно.

1944-й

Свет явился не снегом, не солнцем, не ливнем.
Первое, что я увидел, было ЛИЦО ВОЙНЫ.
Оно на меня низверглось раскатистым рыком
львиным
На тыловой барахолке у кирпичной стены.

Под ним не было тела! Оно в идиотском танце
За собой тащило обрубок, прыгающий в пыли.
Два утюга по бокам – стальные слепые танки
Вминали в сырую землю все, что встретить могли.

Лицо прорезали траншеи, словно морщины
сеткой,
Окоп кровенил на шее, как воспаленный шрам,
Дымилась на нем ракета окурком пустой
сигаретки,
И пламенели вспышки разрывов, подобно
глазам.

Лицо предо мною корчилось, пахло болотом и
калом,
Одурев от водки и пороха, ползли по нему
муравьи.
Очарованием ужаса оно в меня проникало,
Притягивало и поило незрелые корни мои.

Я прикинул к матери – так ли к стволу березы
В страхе неведомом тянется тоненький стебелек?
Но мать на ЛИЦО ВОЙНЫ глядела, роняя слезы
К ногам хмельного обрубка, у которого не было
ног.

Война избывала времечко, война продавала
семечки.
Шило на мыло меняла, мыкала горе война.
А лицо ее ночью билось о проклятую стену
темечком,
Чтобы однажды рухнула все-таки эта стена.

1945-й

Большеголов и большеглаз, в едва залатанной
рубашке,
Я был зверенышем войны в сибирской стороне,
Сосал акации цветы, давился стеблями ромашки,
Жевал осоку, грыз камыш и все, что попадалось
мне.

Я знал пяток съедобных глин, я перепробовал
все травы,
Я обдирал кору деревьев и пил их горький сок.
Но бог растений никогда мне не подсовывал
отравы —
Считал детенышем своим и потому берег?

На берегу крутом реки, в траве, где властвовали
кони,
На четвереньках меж копыт я ползал, не страшась,

Своею грязной пятерней выкапывал я сладкий
корень,
Совсем не знал, что пища та солодкою звалась.

Что знанье мне! Я рос и так. Я продирался сквозь
малинник,
С незрелой ягодой во рту и листьями звеня.
Но все же не подозревал, хоть нюхом обладал
звериным,
Что может все-таки война пока пожрать меня.

Я рос. А зубы все острей, все ненасытней были.
Как древоточец повалил я дерево войны.
Я выжил. Я сожрал войну! А позже объявили
Тарелки черные в домах, что все мы спасены.

И выполз я из лебеды на день большой Победы.
Рыдали бабы. Из ружья сосед палил, как псих.
Я вырос. И колол мне грудь украденный к обеду
С телеги мельничной с утра пахучий сладкий
жмых.

ДЕД ГУСИНСКИЙ

Дед мой – Гусинский Василий Иванович –
Хохол из Полтавы,
Плотник кудрявый,
Улан императорский бравый,
Аж до Сибири проехал державу.
Ветер посеял по свету его сыновей, как отаву.

Ветер развеял по свету его сыновей, как солому.
Будет четыре жены одному
И четыре раненья другому.
Третий тюрьмою да водкою будет поломан...
Колосом быть одному, а другому – половой.

Дед в ожиданьи итога
Сидит у порога.
Хата убога.
В бровях угнездилась тревога.
Жить остается немного.

Осталась надежда на Бога.
Но не пылится давно мимо хаты дорога.

Шла от Полтавы
Да так и уткнулась в безмолвье,
Где солончак не сочится ни соком, ни кровью,
Где от безверья белы небеса
И ложатся степям в изголовье,
Где под очаг лишь лепешки добыты коровьи.

Сладок мне дым, несмышленому,
Горькой заброшенной жизни!
Славно в глазах моих звезды июльские брызжут.
Тихо беседу ведем на пороге,
От древности рыжем.
Он мне – о Боге,
А я ему – о коммунизме.

Он в гимнастерке белесой от соли,
А я-то почти без одежды.
Господи, миска пустой простокваши –
А сколько надежды!
Смотрит мой дед на меня и печально, и нежно
И вырезает из палки зеленой свистульку небрежно.

Пой и свисти!
Я свистульку приблизил к губам неумело.

Пой и скорби!
Чтобы сердце с годами твое не черствело.
Смейся и плачь!
Может быть, это самое главное дело...

Словно свеча,
Он светил на крыльце
В гимнастерке застиранной белой.
А в огороде за ночь колесо от телеги истлело.

ЧЕЧЕНЕЦ

Пахнут солнцем, камнем и слюдою голубые
сопки Кокчетава.
Я на них взбираться не посмею, там меня
чеченец напугал –
У него папаха дышит мезтью, у него в глазах
дурная слава,
У него бешмет из козьей шерсти, у него на поясе
кинжал.

“Нет кинжала, вырвали мы жало – у него одни
пустые ножны!” –
Рассмеялся весело сосед мой, бравый лейтенант
энкаведе.
А чеченец бродит одиноко по сухой траве, как
конь, стреножен,
Тень его страшна, длина – в полсопки, облака
клочками в бороде.

Пахнут дымом, камнем и тоскою голубые сопки
Кокчетава,
Бродит в них чеченец одинокий, словно
опрокинутый во тьму,
У него папаха дышит горем, сердце горько жжет
ему отраву,
У него в глазах другие горы – те, что больше не
видать ему.

Уважаемый Юрий Яковлевич! Только одно ваше стихотворение “ЧЕЧЕНЕЦ”, напечатано в журнале “Новый мир”, и год, обозначенный под ним – 47, не просто обратило на себя внимание всей читающей и даже не читающей общественности, но и создало огромное уважение и любовь к автору. Оно перепечатано во многих наших газетах. Ведь что бы ни писали сейчас о нас, мы живем, пишем, любим. Думаю – пройдет сложное время, и тогда стыдно будет, если мы ничего не сделали, не написали, не рассказали. В последнее время я много занимаюсь литературной картой Чечено-Ингушетии. И ваше имя даже одним вашим стихотворением, конечно, легло на нее рядом с такими именами, как Эдуард Багрицкий, Ольга Берггольц, Мариэтта Шагинян.

Выдержка из письма Ю. Гусинскому
из Грозного.



МАТЬ

Дрожали плечи над корытом,
Плескалась мыльная вода...
Ах, мать, не плачь! Все позабыто.
Он не вернется никогда.

А мать все ниже клонит спину,
А мать все горше слезы льет.
Ах, мать, ты спой мне про рябину,
И может, сердце отойдет.

Ах, мать, зачем себя ты губишь,
Кусая губы до крови?
Ах, мать, зачем его ты любишь –
Шепчу, не знающий любви.

Он жив. Нет в доме похоронки.
Он с фронта не дошел сюда.
Ах, мать, не пой! К рябине тонкой
Он не вернется никогда.

А мать глядит с порога немо
До рези в высохших глазах.
Ах, мать! Он не вернется с неба,
Его земной удержит страх.

Он выбрал место потеплее,
Хоть сердце жрет ему змея...
Ах, мать! Зачем любовь сильнее,
Чем боль и ненависть твоя?

ПЯТЫЙ ЛОГ

Нас вожак покличет свистом,
И во двор влетают с ходу
Юрка — сын энкаведиста,
Валька — сын врага народа.

Да еще полстайки разных,
Чьи отцы войной побиты,
Все — в трусах и майках рваных,
К лету головы побриты.

Наше братство нерушимо,
Вместе выбрали дорогу,
чтобы берегом Ишима
К пятому пробиться логу.

Пяты́й лог куда покруче
Всех оврагов, вместе взятых.
Пяты́й лог... Песок зыбучий
Дышит тайною заклётой.

Мы с легендою знакомы —
С этой кручи в самом деле
Члены первого ревкома
Головою вниз летели.

Пятый лог сыпучим мелом
Весь крошится не напрасно.
Здесь сперва стреляли в красных,
А потом стреляли в белых.

Нам пустой овраг не страшен.
Босиком стоим на круче,
Мы скользим по ней отважно,
Нас несет песок текучий.

Нас к реке выносит с визгом.
Но внизу, на мокрой гальке,
Вдруг находят Юрка с Валькой
Свежие пустые гильзы.

Пятый лог... На глине пятна
То ли крови, то ли ржави.
Год идет сорок девятый
В грозной горестной державе...

Буду я во сне метаться,
Заходиться в смертной муке

И просить по-русски: “Братцы!
Развяжите, что ли, руки...”

Конвоир ответит юркий:
“На тот свет и так отвалишь!”
Будет он похож на Юрку
Или вдруг похож на Вальку.

Буду я стоять на круче,
Зябко чувствуя спиною
Пятый лог, песок зыбучий...
Что же станет со странюю?

Неужели на овраги
Вся и дальше разобьется?..
Я проснусь белей бумаги.
Утро встретит дымным солнцем.

...Век не смял огнем и сталью
Фотографии размытой,
Где, обнявшись, Юрка с Валькой
Смотрят на меня открыто.

1954-й

Над зеленым катком ветер влажный восточный.
Захмелев от вина и сибирской морозной весны,
Парень машет рукою с наколкой “Володя из Сочи”
И орет: “Научите кататься меня, пацаны!”

Распластался на льду не коровой, а мокрым
теленком.

Он впервые с войны изумленно таращит глаза.
Брюки клеш и тельняшка под белым кашне — не
шпаненком

Он на южных вокзалах полыхал как гроза.

Он прошел крым и рим, по нему уже плакали
тюрьмы,

Но веселую финку он покуда запрятал в баул,
Обменял на путевку райкома листик справки
угрюмой

И на лед, спотыкаясь, как на новую стежку
шагнул.

†
1960-й

Бьются в бровях у лета темные жадные осы,
Вьются в кудрях у лета клевер и жаркий чебрец.
Правый берег Ишима зарос ежевикой росной,
Мчится он в птичьем визге, дикий, как жеребец.

Громко плеснула щука над голубой осокой.
Стаи цветов прибрежных следом рванули вскачь.
Яростными кругами их провожает сокол.
Песнею заполошной луга разбудил дергач.

Заторопились пчелы, как на последний взяток.
Зайцы в ковыль нырнули, уши прижав к земле.
Сбросил поспешно малинник гроздь багряных
ягод.
Что ему вдруг примнилось в сладкой тревожной
мгле?

Я упаду на поляне, усну среди солнечных пятен,
Сердце свое успокою мятной ее травой...

“ПЛЮС ХИМИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ” –
Лозунг еще невнятен,
Но поперек дороги вывешен над головой.

СТАРШИНА КОНСТАНТИНОВ

Батальон, словно ельничек юный, и зелен,
и свеж,
Все пострижены, бриты, перловой накормлены
кашей.
Старшина Константинов доволен похожестью
нашей,
Вкусно он хромачами скрипит на плацу цвета
беж.

Он вдоль строя идет, неказист, но стремленьем
высок
Обеспечить как должно солдатскую нашу карьеру.
Потому надлежит мне к далекому ехать карьеру
И швырять в самосвалы хрустящий весенний
песок.

И подначивать будет шофер: “Веселее, солдат!”
И взойдет надо мной розоватое облако пара.
И ремень я сниму. И отброшу небрежно бушлат,
Где в кармане упрятан коричневый том Элюара.

Но, подтаяв, обрушилась глыба. Самосвал — на
дыбы!
Мой бушлат погребен. Лишь задели меня как
осколки
Из-под глыбы слова: “Мне ненужным лицо было
долго...”
Что ж, прощай, Элюар! Мне послышался оклик
трубы.

Март вокруг бушевал. Был закат, как погоны,
крылат.
И подснежник уже пробивался во тьме к
небосводу.
Оставалось служить еще два с половиною года.
Старшина Константинов мне выписал новый
бушлат.

1965

1964-й

В Крыму он проснулся, печален и нем.
Явился вождем, а вернулся никем.

Он в волнах внезапно расслышал тревожное эхо
Раскатов злорадного горького смеха.

Смеялся соратник, поклявшийся в дружбе до
гроба.

Смеялись в бараках последних и блочных
веселых хрущобах.

Смеялся сапожник, опять поднимая над будкой
Портретик вождя в сапогах и с погасшею трубкой.

Смеялись коровы, жуя с наслаждением во тьме
кукурузу.

Смеялись матросы с чужих зерновых сухогрузов.

Смеялся чиновник – на случай. И ерник смеялся
паяцем,
Забыв, кто позволил ему хоть над чем потешаться.

Смеясь, кто-то робко спросил у кого-то: “А хуже
не будет?”

В ответ еще громче смеялись... Ах, мудрые,
милые люди!

1974-й

Что приключилось со мной?..
В окна больничной палаты
Яростно ветер бесплатный
Стукнул рукой ледяной.

Все здесь бесплатно — огонь,
Тускло мерцающий в теле,
Серые в штампах постели,
Кухни прогорклая вонь.

Все здесь бесплатно — грачей
Крик над облупленным моргом
И равнодушные морды
С нищей зарплатой врачей.

Нет на халатах креста.
Все их участие за теми,
Чьи здесь места посветлее.
Куплены эти места!

Ангел с бесплатным шприцом
Вряд ли найдет раскладушку,
Где в коридоре старушка
Ждет со смиренным лицом.

Так и забыта с утра
Всеми, пускай не нарочно...
Что же случилось с народом,
Добрым и гордым вчера?

Что же с народом моим?..
А в коридоре старуха
Стонет прощально и глухо
Перед уходом своим.

Стынет слеза на щеке.
И расплатиться нет силы
За милосердье России
Трешкой, зажатой в руке.

1978-й

— Чего ж ты столько лет молчал? —
Меня потомок спросит прямо.
— Я не молчал, мой друг, мычал,
Валяясь под забором пьяно.

Очнувшись утром у крыльца
Чужого, в ямине укромной,
Я губы обдирал с лица,
Измученного жаждой темной.

Я брел, шатаясь, до ларька,
Где можно все начать сначала,
Где милосердная рука
Стакан похмельный мне вручала.

Глотнул — и вновь на чердаках,
В подвале, в келье кочегара
Живи вольготно в миражах,
Причудливых от перегара.

Потом облеваным лежи
На пустыре среди бурьяна.
Зато ты не увидишь лжи
На дне немытого стакана.

Храпи и хрюкай, как свинья,
Мочой пропахший или псиной...
И где там, что она — семья?
И как там, что она — Россия?

Неужто тоже вся хмельна?
Неужто все в ней — пьянь на пьяни?
Или другой виной больна?
Не знаю — я лежу в бурьяне.

Кто рядом завалился — брат,
Последний грош пропив со мною,
Виновен, да не виноват
Пред изолгавшейся страной.

Остатки совести ее
Остатней каплею в бутылке,
Мычим, впадая в забытье —
Страдальцы, гении, обмылки.

Так — час за часом, день за днем,
Не заживая, как болячка,

Я синим выгорал огнем,
Ползя за веком на карачках.

Я пропадал, я шел на дно,
Но за погубленные годы
Мне оправдание одно —
Был вместе со своим народом.

Гляжу на речку сквозь кусты:
Заброшенные мной с обрыва
Бутылки выплыли. Пусты.
В них нет о помощи призыва.

Мне, трезвому, плывут вослед,
Припоминая непогоду,
И снова оправданья нет
Ни мне, ни моему народу.

1986-й

Гуляет ветер по России,
Сквозит, метет по всем углам.
Уже пришли в движенье силы,
Еще неведомые нам.

Но и вольготно силам древним,
Во тьме гудящим как прибой.
Уже грядет их столкновенье,
Уже гремит их ближний бой.

Уже кому-то на заставах
В сиянии кондовых снов
Мерещится орел двуглавый,
Битье студентов и жидов.

Уже в сиянии неона,
Благословляя на раскол,
“Богоизбранники Сиона”
Ведут свой тайный протокол.

Уже поклонники державы,
Стальной, не знавшей перемен,
Оправдывают путь кровавый
Единственно снижением цен.

Уже паломники расплаты
Вышвыривают из гробов
Проклятых, снова виноватых,
Некаявшихся мертвецов.

Уже предъявлены все правды,
Уже предъявлен каждый счет,
Уже кто слева, а кто справа...
Еще безмолвствует народ.

Молчит, не осознавший мненья,
Что жребий надлежит ему,
Он копит силы для движенья,
Приглядываясь, что к чему.

От наших стычек независим,
Тревожно в думу погружен...
В нем зреют семена единства,
Которым будет он спасен.

Ему не надобно примера,
Он и без нас поймет, народ, —

Кто жил всегда двойною верой,
Всегда в безверии живет.

Ищи свой путь, душа, страдая,
Ищи свой путь, не торопись,
Сомненьем веру проверяя,
Не оступись, не отступись.

ПЕСНЬ О ПОЩАДЕ. 1988-й

I

По коридорам опавших черемух, заросших
осотом пшениц
Конница мчится птицей, в клюве — багряное
знамя.

По коридорам сожженных селений, закрывших
ставни станиц
Свет мирового пожара позванивает стременами.

Глотке без песни тесно, сабле без крови пресно,
По золотым погонам пляшет она, солона.
Мною двуглавая птица надвое рассечена,
Пусть вспоминает во мраке мой жуткий удар
отвесный.

Кто тут враги? По-русски бьет по мне пулемет.
Бьет с колокольни розовой вдоль по дороге
слепо.

Белое тело березы вряд ли меня спасет,
Но комиссар курчавый орет: “Это есть наш
последний!..”

Взяли мы пулеметчика и сразу — мордой к стене.
Буржуй, но, как я, в рванине, не распознаешь гада!
Рыжий, в шинели ржавой, крестился в глухой
тишине,
Но даже и перед залпом не попросил пощады.

По коридорам прогнивших черемух,
осыпавшихся пшениц
Конница мчится птицей, в клюве — белое знамя.
По коридорам сожженных селений, закрывших
глаза станиц
Виселицы поскрипывают, в лицо воронье узнавая.

Благословлен с амвона, вооружен за кордоном,
Посверкивая погонами, полк нам идет вослед.
Нас повязали сонных, теплых, в одних кальсонах,
Не камышом — штыками щетинился в окнах
рассвет.

Боже! Как горько, как сладко пахли степные травы,
Когда коридором штыков нас повели во тьму.
“Это есть наш последний!” — запел комиссар
курчавый,
Но пулеметчик рыжий вышиб зубы ему.

Рассыпанных на черные осколки!
Но рыжий мой сосед на тайной полке
С усмешкой колкой отыскал обрез.

Земля ждала зерна, не перекроя —
Так он считал, невежда и нахал.
Пока мы, беззаветные герои,
Митинговали: “Новый мир построим!” —
Он яростно два поля запахал.

Но все же зорька алою косынкой
Пылала в коридоре из берез,
Когда осенней ранью из глубинки,
Весь в кумаче и злате, как с картинки,
На город с хлебом двинул наш обоз.

А вскорости о планах продразверстки
Поведал нам заезжий комиссар.
И рыжий мой сосед белей известки
Окаменел, когда до крайней горстки
Курчавый выгребал его амбар.

Дом рыжего зарос, исчез, как не был.
Шагнул курчавый и на мой порог:
“Хлеб нужен”. — “Где же взять, помилуй Бог!
На семена храню, не на потребу”.
Он непреклонен: “Ленин просит хлеба”. —
“Так на же, отвези ему мешок!”

Курчавый помрачнел и зло ответил:
“Ты языком напрасно не трепли!”
Я отдал хлеб... Потом и не заметил,
Как годы шли, как подрастали дети,
Как я себя впрягал в ярмо земли.
Но стоило судьбе забрезжить светом,
Чертополохом годы проросли –
Колхоза я не принял, и за это
Конвойные однажды на рассвете
Меня с подворья повели в пыли.

Нас гнали коридором из железа
Штыков, способных молча заколоть.
Здесь рыжий был, пальнувший из обреза
В курчавого, и жалкий поп облезлый
За проповедь: “Помилуй нас, Господь!”

Путь монастырской кончился стеною,
Где вдоволь колоколен и берез,
Но суп один на всех, один понос
Кровавый; где отныне мы одною
Глухою беломорскою тоскою
Спрессованы, как в пачке папирос.

Ни вопля о пощаде и ни стона,
Лишь лики потемнели, как иконы.
Но черной кровью Беломорканала
Отныне напоен грядущий снег,

Хоть все-таки душа еще не знала,
На чью раскурку жизнь моя попала
В стране, где вольно дышит человек.

III

“Ах, огурчики да помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике!”
“Отставить разговорчики!
Шаг в сторону – побег!”
...Над Колымой свинцовый снег.

А над страной весенний ветер веет.
Уже к Магнитке двинулась руда,
Где алые косынки гордо рдеют,
Где бывший поп радеет и потеет,
Возводит храм свободного труда,
Где твердь дымна, а истина тверда.

С полей и пашен загнанный в бараки,
В галошах рваных, в шубе из заплат,
Зимуя там, где не зимуют раки,
Я новой вере беспросветно рад.
Под звон оркестра или вой собаки,
Круша рекорды, плача в пьяной драке,
На митингах срываясь в забияки,
Я повторяю: “Будет город-сад!”

Уже возвращен садовник небом строгим,
Уже шагнул сапожник прямо в боги,
Кто был ничем – тот мыслит за народ.
Уже суровой дратвою дороги
Бог воедино сшил, дабы в итоге
Судьбу любую видеть наперед.

Еще гармони корчатся в присядке,
Еще разят березы духом сладким,
Но колокольни – в прахе и в дыму.
Уже мы все ведомы курсом кратким,
И по ночам нас, как морковь из грядки,
Выдергивает бог по одному.

Садовник жжет листву в саду державы,
И черный ворон мчит ему вослед.
По коридорам зданий величавых
Уже бредет в бреду комбриг курчавый,
Лишенный враз что имени, что славы,
Но все-таки подбитым глазом правым
В конце пути он жаждет видеть свет.
Свет обернется стенкою шершавой,
Расправой смертной, стежкой кровавой,
Да хватит черной туши на портрет –
В учебниках комбрига больше нет.

“Броня крепка, и танки наши быстры!”
Но, видимо, и мой пришел конец,

Коль рыжий и веселый молодец
Бьет так, что я из глаз просыпал искры:
“Магниту захотел взорвать, стервец?”

В Охотском море злится непогода,
Под палубой все стонет и блюет.
В угрюмых трюмах нас невпроворот,
Спрессованных как жмых врагов народа,
Как будто враг кому-то — весь народ.

Нет имени и клички — только номер.
Нет отдыха и хлеба — только труд.
И если, по несчастью, ты не помер —
Пройди весь ад земной по кругу тут.

В бараке волком вой, глухом, как ящик,
По коридорам просек леденящих
Стынь в телогрейке на ветру крутом,
Стань для начальства в грозном настоящем
Лишь доходягой, бронхами свистящим,
Для конвоира рыжего — клопом.

О, как меня он ненавидит люто,
Сжимая штык промерзшею рукой!
Как ненавижу я! Мы с ним не люди,
Коль спаяны звериною тоской.

А где-то ждет ведь мать его, поди.
Да за колючим ледяным забором
Давно никто не ждет меня, считая вором.
Мы заняты безмолвным разговором.
Молю душой уставшей: “Пощади!”
В ответ он сухо щелкает затвором.

Ну вот, шаг в сторону — побег.
На Колыме багровый снег.
Над Колымой свинцовый свет.
Над всей страной суровый бог
В крови — от нимба до сапог.

IV

Над колокольной воронье, в пыли и порохе
репейник.
По коридорам русских сел, бессонных вдовьих
глаз
Три ворошиловских стрелка, несем две древних
трехлинейки
Да пять бутылочных гранат — весь наш боезапас.
Священник в путь благословил забытой черною
иконой,
Где змия ловкий паренек разит копьем с коня.

А нас бомбежка гнет к земле, утюжат танки
непреклонно,
И коридоры всех траншей ведут к стене огня.

Контужен рыжий политрук, убит мой друг
курчавый,
Но если Родине нужны, встаем из-под земли,
Чтоб снова маршалы ее мостили нами переправы,
Чтобы флажки на картах их по нам вперед прошли.

Березу белую мою жрет саранча чужая.
Пусть не меня, так хоть ее помилуй, Боже мой!
Но листья серые ее в дыму кружатся, облетая,
Чтоб похоронками устлать заветный путь домой.

“Но врете, гады! Я живой”. И, оттолкнувшись от
березы,
Ору: “За Сталина! Вперед!” И падаю опять.
В плену исчез курчавый друг – по нем
запрещены и слезы.
Пропал без вести политрук – и праха не сыскать.

Кто толком подсчитает нас, всех павших
и пропавших?
Кто возвратится – отведет глаза от наших жен,
Себя состаривших в цехах, в очередях, на
горьких пашнях.
На всех зажгут один огонь – да будет вечным он.

Ну а пока огня стена. Пуста траншея и дымна.
Ползут три танка на меня. Встречаю их один.
Спина от пороха черна. За ней – Кремлевская
стена.
Одна мне доля суждена – в прицел беру Берлин.

V

Нет войны. Но чиновники все в кителях.
Почтальоны в петлицах. Финансисты в мундирах.
На казенных просторах в казенных домах
Мы в казенную форму одеты согласно ранжиру.

Ясный свет впереди! Ждем снижения цен.
Славим бога, который не верует в Бога.
Из Кремля нас он видит сквозь надолбы стен.
Нас к нему не ведет никакая дорога.

Заросла колокольня. Божий храм в лопухах,
Старый батюшка службу убогую служит.
Две крестьянки в опорках да в темных платках
Корку хлеба ему подают неуклюже.

Бригадир зол и рыж. Нету Бога над ним.
Он кнутом на заре мрачно хлещет по ставням.
Он потом ставит смачно в гроссбух трудодни –
Частоколы бесхлебья, безверья, бесправья.

Нет ни хлеба, ни паспорта. Справку прошу,
Чтобы в город уйти, но с ухмылкой на роже
Он в ответ: “Не пушу. Иль сгною, или в тюрю
скрошу!”

Но великие стройки спасут меня все же.

Ясный свет впереди! За спиной в сидорке
Только лука головка, что мать завернула в
холстину.

Я могучую стену построю на Волге-реке,
Возведу из бетона и камня плотину.

Как махал я курчавому другу рукой,
Что последнюю глыбу швырнул с самосвала!
Рукотворное солнце вошло над рекой,
И она берегов своих не узнавала.

А в низовьях уже коридорами рек,
Увлекаемы тайною волей природы,
Осетры начинали свой яростный бег,
Шли на свет, рассекающий темные воды.

О, как бились они о плотину мою,
Как молили пощады, взлетая от горя
Над волнами! Как пали в жестоком бою,
Истлевали на дне рукотворного моря!

Там, в гниющей равнине, исчез Китеж-град,
Словно канул навеки. Напрасно

Колокольня на дне ударяла в набат
Да береза наверх пробивалась из ряски.

Я припомню когда-то, что было со мной,
А куда и шепотом молвить не смею:
Боже мой! Что наделал я с жизнью земной!
Боже мой! Что наделали с жизнью моею!

VI

Сколько света! Словно лето вслед за бурною
весной
Дарит ясные рассветы, обещает путь иной.

Нет отныне над страной в сапогах кровавых бога.
Дождь идет над целиной, он пророчит хлеба
много.

Дышит светом целина. Ни берез, ни колоколен.
Всюду степь как есть одна. С новой строчки
пишем долю.

Веря в наш ударный труд или в совершенство
мира,
Хлеб бесплатно выдают и зарплату без кассира.

Но и скот ведут с подворья, веря в общий интерес.
Снова горе тем, кто спорит, кто не по дрова, а в лес.

До небес летит ракета, поп глядит уныло ввысь.
Сколько звона, сколько света! Ах, смотри не
ослепись!..

Жизнь подвластна непогоде. Грозно дышит
целина.

В бездорожье и безводье гроши вбила вся страна.

В небе – пыльная стена! Буря землю кроет
мглою.

Под золою семена, потом политые мною.

Но уже и над страной, словно пыльной бури
след, –

Пусть незримой стороною – бога павшего портрет.
Словом, есть, а как бы нет.

Вновь берут из дерзких рук власть птенцы
стальной державы.

Враз погас мой рыжий друг, усмехнулся друг
курчавый.

В четырех стенах раздолья не пойму теперь
никак,

Кто же я. Былинка в поле? Или все же хлебный
злак?

VII

Газеты, мой восславя век, вещают с торжеством:
“Все для тебя, мил человек, для блага твоего!”

С утра сказал злорадно: “Врешь!” — газетной
полосе.

Но стену лбом не прошибешь, живешь — живи
как все.

А всем давно известно тут, кто ценен, кто высок,
Какой потомкам институт, какой тебе паек.

Чем выше ты, тем ты смелей — бери, кради и
лги!

Чем выше ты, тем ты сильнее — и тронуть не
моги!

Но мне наверх дороги нет. Перегорожен путь
Стеною блага и анкет, ни охнуть, ни вздохнуть.
Но если ты умеешь жить, не пропадешь в толпе,
Когда связать посмеешь нить — “ты мне, а я тебе”.

Но если ты чудак на “мэ”, а совесть словно
страх,

Не зачирикаешь в дерьме, торча в очередях.
“Чего дают сегодня тут?” — “Хватай пока дают!”
За маслом нас, как масло, жмут, за колбасой —
убьют.

Прессуют очереди нас, где стон и крик немы.
Жестокосердной каждый час, немилосердной мы.
Курчавый бьет меня плечом, я рыжего — под
дых.

Но мы помиримся потом, чтоб выпить на троих.

Стена церквушки. В хламе весь заброшенный
погост.

Среди берез спокойно здесь. “Давай-ка, рыжий,
тост!”

Разлил он красную бурду и хмыкнул погодя:
“Пью за четвертую Звезду геройского вождя!”

Курчавый пьет второй стакан: “Да хрен бы,
братцы, с ним!

Сынишку замели в Афган. Вернется ли живым?”

Ворона каркает над пнем, взирая на меня.

За эту птицу счастья пьем — из завтрашнего дня.

Пьем, что-то высказать спеша. У церкви на виду
Взмахнула крыльями душа, хоть и в хмельном
бреду.

Пощады просит. Но кому теперь душа нужна?

Ору как дикий зверь во тьму, ослепнув от вина.

Священник за стеной бубнит, как ветер из пустынь:
“Ужо архангел протрубит, падет звезда полынь”.

Что мне полынь! Душа пьяна. А душу топчет
старшина.

И вытрезвителя стена прочным-прочна.

Мордашка дочери темна. Рыдает, озлобясь, жена.
Не видно света из окна. Куда не сунешься —
стена.

Она ракетами черна, пыльна, заветна и бедна.
Давно над бездною она, да нам и бездна не видна —
Над бездною стена.

VIII

Резкий ветер и свет перед нами — холодный и
стойкий.

Вроде нет ни стены, вроде нет ни преград.

“Что, курчавый, невесел? Или ты не прораб
перестройки?”

“Что ты, рыжий, не рад? Или ты бюрократ?”

В коридоры бурлящей толпы мне сегодня
привычна дорога,

Где газеты с утра, сахар в полдень и водка в обед.

Отчего ж не ушла из души протрезвевшей
тревога,

Отчего же сжимает мне сердце немеркнувший
свет?

Надо мною сегодня свободно звонит колокольня
И священник спокойно меня осеняет крестом
золотым.

Отчего ж приникаю слезами к березе в пустующем
поле,
Отчего же так горек Отечества сладостный дым?

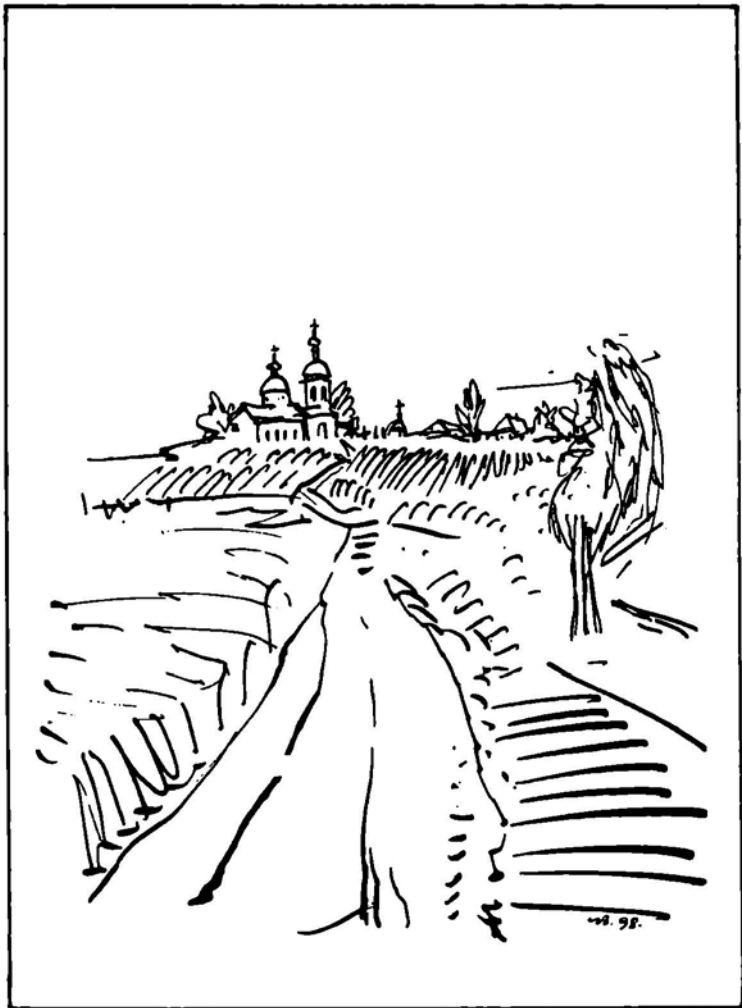
Что прошу у небес? Покаянья? Покоя? Награды?
Но, избыв свою жизнь, я не жил, полной грудью
дыша,
Не возвел еще храма, в котором попросит
пощады

Не избывшая вечной надежды душа.

Вроде ведома мне, да неведома сердцу дорога.
Как травинка в стогу, я покуда спрессован
толпой.

Я у Бога, когда бы он был, попросил бы
немного —
Разгляди и помилуй, дай волю побыть мне
собой...

Весеннее время



На юг от железной дороги, на юг от разлуки моей
Качаются красные маки среди голубых ковылей.

На юг от безликого града, на юг от печали моей
Уносятся темные кони забытых и диких кровей.

На юг от бессмысленных споров, на юг от
кручины моей
Серебряно плещут озера телами литых карасей.

Как кратко, как сладко на юг от меня
просыпается степь.
Весеннее время дано ей, иное — не время, а
смерть.

А дальше дорога, и камни, и пыль, и забвеньё —
терпи!
Но все же весеннее время свое я растратил в
степи.

* * *

От Петропавловска до Павлодара
Сила моя пропадала задаром,
Знойным зерном разошлась по амбарам
От Петропавловска до Павлодара.

Мяла меня и крутила работа
Так, что порой вспоминать неохота.
Но и любила меня — не кого-то,
Аж истлевала рубаха от пота.

Передо мной на вечерках плясали
Пестрые юбки и черные шали,
Всласть целовали и кудри терзали,
Враз забывали да век вспоминали.

Не миновала и слава дурная —
Брага хмельная и драка шальная.
Дважды я друга спасал, прикрывая,
Трижды спасла меня дружба святая.

От Петропавловска до Павлодара
Сила моя пропадала недаром,
Юность недаром моя пропадала
От Петропавловска до Павлодара.

БОРОЗДА

Рассвет.
Нам надо торопиться –
Водою ледяной умыться,
А если выйдет, то побриться,
Да миской с кашею разжиться,
Да сухарей взять про запас.
Как говорится,
Дан приказ –
Мы поднимаем первый пласт.

Степь тихо ржет, как кобылица,
Звенит, как утренняя птица,
Щебечет в древней тишине,
Над ней туман еще струится,
Под ним трава еще дымится,
Под ней –
В сплетении корней,
Которые давно ослепли,

Тоскуя в сумраке и пепле
О ясных факелах огней;
Под ней —
Горчит сплошной дерниной
Упрямый и неодолимый,
Призвавший нас —
Тысячелетний и целинный,
Наш первый пласт.

Ковыль струной из серебра
Трепещет, стонет, как домбра.
А дальше —
То мелькнет, то меркнет
Напуганный мотором беркут.
А дальше —
В мареве тумана
Пылают красные тюльпаны.

Запоминайте, не мигая, —
Здесь будет красота другая!

Здесь будет красота иная —
Сейчас, отныне, навсегда
Всю степь от края и до края
Моя изменит борозда!

* * *

Жизнь бедна, но зато прекрасна.
В телогрейке с дырой на боку
Голосую единоголосно
Одинокому грузовику.

Не досталось места в кабине,
Перепрыгиваю через борт.
Здесь трясет, здесь жжет холодина.
Но я еду не на курорт.

И за что только ветер жуткий
Вынимает душу мою?
Третьи сутки пусто в желудке,
Чтоб не сдохнуть — песню пою.

То ли руки морозом сводит,
То ли пуп прирастает к спине...
Не жалейте меня сегодня,
Я тогда был счастливым вполне!

Присмотритесь — во весь свой голос
Комсомольскую песню ору.
Словно сирый, но твердый колос,
Я торчу на крутом ветру.

Надо мною просторное небо
И поля вокруг — благодать!
Я ни разу и сытым-то не был,
Так с чего же мне горевать?

БАЙГА

На целине нет праздника без скачек.
Тревожно кони стынут на лугу.
Беру седло. Я из семьи казачьей.
По зову предков запишусь в байгу.

Дымит толпа. Домбра звенит. Хлопочет
Судья. Поодаль бабы варят бешбармак.
Мой конь косит кровавым глазом. Хочет
Рвануться первым. Не дают никак.

Хлопок бича! И расстелились кони
По всей степи. Рябит в глазах ковыль.
Нас не видать. Лишь розовая пыль
Укажет след бушующей погони.

Попоной рыжей мчит навстречу степь.
Меня хлыстом огрел крутой соперник.
Догнать! Но пыль глотаю. Не успеть...
Но врешь – не ты сегодня будешь первым!

Прости, мой конь. Я вынужден тебя
Послать в полет над голубым оврагом.
Ага! Тюльпаны дикие губя,
Теперь нам дышит в спину вся ватага.

Летит навстречу пестрая толпа,
Визжит и нас разглядывает жадно.
Мы первыми мелькнули у столба!
Весь в мыле конь. И проигравших жалко.

БАЯНИСТ

Он вошел. Он баян, как арбуз, разломил пополам.
Алым пламенем музыка пляшет на черном.
И скользнула улыбка по тонким губам,
Адресуясь вечерке и каждой девчонке.

Он берет их в полон, обжигая дотла.
И мигают ему одному опаленно ресницы.
Ах ты, музыка чертова, как ты легла
На поляны неброского, робкого ситца!

Словно ливень прошел — и раскрылись цветы,
Разгораются сладко и губы, и щеки.
В этом темном порыве один не колеблешься ты —
Властелин и огня, и дождя, и сердце одиноких.

Твои пальцы грубы и на клавиши яростно жмут.
Ты уходишь от взоров молящих умело.
То, что сердце — в баяне твое, разве кто
догадается тут,
Не коснутся его ни занозы, ни стрелы.

Мокрым чубом внезапно на планку упал,
И баян зарыдал на неммыслимо горестной ноте,
Словно искру огня черной ночью напрасно

искал.

Отойдите, не трожьте – все равно не поймете...

Но баян, как арбуз, он опять разломил пополам,
Не себе же одной эта музыка жаркая служит!
Запылала цветами опять вся изба по углам.
Завывала в окне неприкаянно зимняя стужа.

* * *

Не знаю, когда начинается день!
Будильник заглох — и уже за порогом
Горбатый подсолнух, да пыльный плетень,
Да ястреб над белой от солнца дорогой.

С утра и земля, и железо в крови —
Мне по сердцу плуг, мне по нраву лопата,
Но мой мотоцикл охрип от любви
К березам, летящим в объятья заката.

Не знаю, когда начинается ночь!
Звезда не взошла — а цветок на ладони
Осыпался платьем, метнувшимся прочь,
Губами твоими горчил вдоль погони.

Не знаю, каких разбудила ты птиц,
Когда на плече моем робко проснулась.
Не знаю ни дня и ни ночи границ,
Не знаю, что в этом незнании — юность.

ОЖИДАНИЕ

Дорогу к дому застилают флоксы.
В лиловых вспышках умиранья нет.
И мне вольготно сельским ортодоксом
Озябшей кожей чувствовать рассвет.

Орет петух простуженною глоткой,
Как часовой, он требует пароль.
Я отвечаю посвистом коротким,
Играя предназначенную роль.

Мне на зубок учить ее не надо,
Играю с потемневшего листа
Малинника за ветхою оградой,
Смородины шершавого куста.

Мой день пройдет в трудах неутомимых,
В округе не понятных никому, —
Я молча жду шагов неповторимых,
С утра гляжу в назначенную тьму.

Туда, где скрип калитки с нежной силой
Меня объявит навсегда в плену
Двух глаз, наполненных водою – черной,
стылой,
Двух омутов, в которых утону.

ВЕНЧАНЬЕ

Умолкли птицы.
Степь.
Закат расплавлен.
Ночь в теплых звездах.
Между двух холмов,
Как церковь,
Островерхий стог поставлен.
Он к нашему венчанию готов.

Как ты горишь,
Во тьме срывая платье!
Как я дрожу!
Но ночь меня смелей.
Как плачешь ты,
Сомкнув свои объятия
Над юностью беспутною моей...

И ничего
На свете не осталось.

Лишь только схватка
Ликовавших тел.
Как радостно
Лицо твое металось
Передо мной...

И жаворонок пел,
Над утреннюю степью
Поднимаясь.
И ты светилась
Розовым огнем,
Как будто пламя наше,
Унимаясь,
Бесстрашно в теле спряталось твоём.

Ищу огонь иссохшими губами,
Целую два высокие холма,
Усыпанные дикими цветами
И травами, сводящими с ума.

В моих кудрях —
Ковыль, чабрец и мята.
В твоих губах —
Пыль желтого цветка.
Ах, молодость,
Ты разве виновата,
Что все венчанье стоило венка.

Того, что, усмехнувшись,
Ты надела
И по тропе ушла, как в забытье...
Но как там пело,
Как светилось тело
Сквозь ситцевое платье твое!

ВИДЕНИЕ*Татьяне Ребровой*

Видением явившись над холмом
Со стороны багряного заката,
Мой конь вбежит во двор с пустым седлом,
В твою ладонь уткнется виновато.

Соратники пройдут – в пыли, в крови,
Победы знамя пронося степенно,
Но спрячут от тебя глаза свои,
Чтоб не нашла ответа в них мгновенно.

Мой друг, твоих окаменевших плеч
Едва коснувшись, скажет через силу,
Что обломал о корни острый меч,
В лесу копая для меня могилу.

И тишина настанет. Тишина,
До самых глаз укутанная шалью,

В которой ты одна, лицом черна,
Темна рассудком, сожжена печалью.

Но все-таки, витая над землей,
Моя душа почует на восходе,
Что возжжена свеча за упокой,
Что с ней твое дыхание уходит.

И, прелую листву разворошив,
Восстану я из праха, непокорен.
Я мертвыми губами крикну: “Жив!” –
Чтоб ты вдали не умерла от горя.

В СТРОЮ

Проводили меня по-русски —
Пиром, песней да плачем навзрыд...

— Встаньте в строй, рядовой Гусинский! —
Старшина мне сурово велит.

Он поблажки не даст ни разу,
Объявляя программу свою:
— Ваше счастье в единообразии! —
Я, как все, промолчу в строю.

Он глядит недреманным оком.
Знает черт-старшина наперед:
Это счастье не выйдет мне боком,
Хоть в крутой возьмет оборот.

Я, как все, буду вскормлен кашей.
Я, как все, буду петь в строю.

Я, как все, не слохну на марше
И не дрогну в учебном бою.

...Вновь приказ — овладеть высотой!
Мы по глине ползем в пятый раз.
Нету сил. Но единство строя
Поднимает в атаку нас.

Старшина распознает сразу
Хоть любого из нас потом,
Одинаковых, мокрых, грязных,
Как хозяйка цыплят — чутьем.

1964

“Я служу не в артели “Напраснейший труд”!” –
“Вот и славно, – сказал старшина, – что копал
ты напрасно”.

Что он мелет? Что хочет? Лишь позже пойму со
стыдом
На нехитром параде в таежном моем гарнизоне –
Пол-Европы с винтовкой прошел он на брюхе
ползком,
Пол-России вскопал, до крови обдирая лопатой
ладони.

А пока еще злюсь. Мои губы, как камень, грубы.
Гимнастерка моя превратилась в сырую и
грязную тряпку.
Всюду каски торчат из окопов, как будто
стальные грибы.
Но никто в эту землю теперь не вобьет нас по
шляпку.

ДАМСКИЙ ВАЛЬС

В казарме с утра легкомыслия вертится тень.
Казарма пропахла паленою тряпкой и
“Шипром”.
Шитьем да уютною занята рота весь день.
Но все ж старшина Константинов не сердится
шибко.

Сегодня объявлены танцы!
С утра сотрясается клуб
От стонов и хрипов терзаемой меди.
С трудом превращается в джаз
Духовое сообщество труб,
Но два барабана и скрипка спасут их намедни.

Дежурный с повязкой,
Как камень, вырастает в бетон.
Впервые за месяц ворота свободно открыты!
И топчется вольной толпою

Впервые с весны батальон —
Надраены пражки, каленые лица побриты.

А ну расступись!
Со смешками впорхнули уже
Веселые дочери фабрики и леспромхоза.
Бывалые девки —
Не звезды, конечно, не розы.
Но что-то в солдатской моей расцветает душе.

Всего два десятка на весь боевой батальон.
Расхватаны все до единой по первому звуку
Нелепого джаза.
Вот кто-то кладет на сержантский погон
Шершавую, нежную, плохо отмытую руку.

Счастливый сержант
Дамский вальс объявляет скорей.
Неужто и мне улыбнется сегодня удача?
Я к стенке прижался,
Нахохленный, как воробей,
Восторг ожидания под едкой усмешкою пряча.

Вот скрипка взлетела над залом на миг.
Мне счастье не выпало. Я у стены каменю.
Еще усмехаюсь, но тесен мне вдруг воротник,
Полоскою белой врзается в красную шею.

ВЗРЫВ

Я замешкался, видимо.
Или смешался.
Что-то мне помешало.
Но дело не в том.
Я последним на бруствер высокий поднялся.
Мне последним в укрытие мчаться потом.

Заплясали на рельсах веселые змеи.
Только мне одному обжигает морозом ладонь.
Не дымится мой шнур!
От смятенья зажечь не умею.
Но умру,
А добуду смертельный огонь.

И добыл! И назад!
Как недобро оскален
Добрый мир!
Воронье закричало.

На дыбы поднялась Голубиная падь.
Старшина Константинов в окопе
На все Забайкалье
Костерит меня в душу, и в бога, и в мать.

Как в глазах его вспышка
Отразилась красиво!
Круглый гром настигает меня со спины.
Это время входило в пространство до взрыва
В гимнастерке,
Пошитой для прошлой войны.

1963

ПОЛИГОН

Степь. В ее цвета одетый,
Убаюканный травой,
Я лежу в тени ракеты,
Сапоги под головой.

От жары меня укрыли
Тайны грозных мегатонн.
Лишь подрагивают крылья
То ракеты, то погон.

Дни идут. Желтей погоны.
Гимнастерка все белей.
И спокойней полигона
Нету места на земле.

Лишь во сне запахнет лето
То бедой, то лебедой.
Я лежу в тени ракеты,
Безмятежно молодой.

* * *

В Сухом логу не увядают листья,
Тайга до самой стужи зелена.
Прости, прощай, товарищ старшина!
Я от тебя отныне независим.

Так принимай, фанерный чемодан,
Навеки пожелтевшие погоны!
Все остальное запросто раздам
Я новобранцам, стриженным, зеленым.

Три года жизни вычерпал до дна.
Я ухожу. Квартал до поворота.
Окончена тяжелая работа.
Закончена бескровная война.

Держу фанерный чемодан в руке.
Еще не знаю — бравый да кудрявый,
Что мир вокруг, на всех его заставах,
Давным-давно дрожит на волоске.

Мой старшина,
Суровый и степенный,
Ты вслед хотя бы только раз взгляни —
Я озарюсь твоей судьбой мгновенно,
Где не бывает дней послевоенных,
Как не было и нету довоенных,
Есть только межвоенные одни.

* * *

Чугунные сваи вбиваю
И молотом бью по трубе.
Я цену себе набиваю.
Я цену не знаю себе.

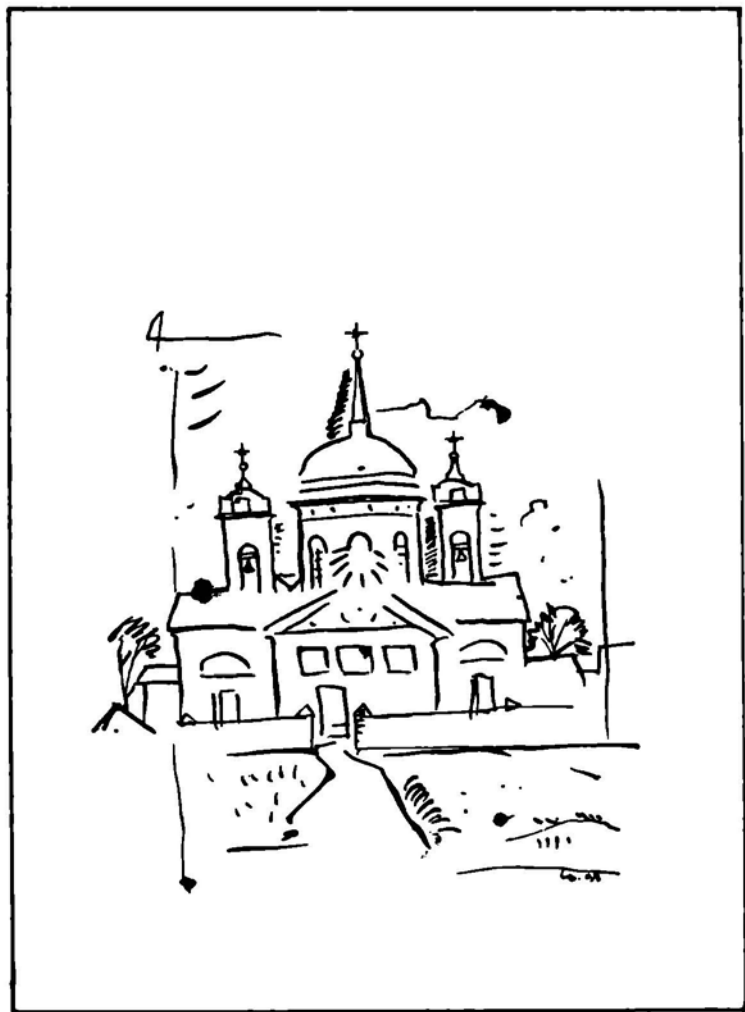
Как дорого молодость стоит,
Которая кончилась вдруг.
Но плакать об этом не стоит,
Еще не смыкается круг.

Вернутся сугробы по пояс,
Пирушки, любовь, облака.
Еще не уходит наш поезд,
И молодость рядом пока.

Ее обронил — не разбилась.
Как птица цветного пера,
Она у других поселилась,
Легко упорхнув со двора.

Она затрубит на рассвете
И снова напомнит тебе,
Как сладко быть злым и отпетым
И молотом бить по трубе!

След време



* * *

Проклятье мне! Я выпил этот яд.
Проклятье мне! Не избежал соблазна.
Толпой воспоминания стоят,
Как ночью пацаны у перелаза
В заветный сад, запретный теплый сад.

Войду – и сразу вспышкой огня
Сад памяти взметнется потрясенно,
И мальчик тот, что веровал в меня
И мною был в невозвратимых днях,
Вдруг отшатнется – словно обожженный.

Он закричит, что вовсе не был мной!
Слеза вскипела, но потом затихла...
Забуду все, что было за спиной,
Но ветра след минует стороной
Лишь только то, что снова не настигло.

*МАЛАЯ РОДИНА**Владимиру Цыбину*

Малую родину я покидаю.
Пыль на дороге.
А в сердце – зима.
Что оставляю родимому краю?
Серые, вросшие в землю дома.

Тусклый булыжник трех улиц мощеных.
В желтых акациях старый вокзал.
Малая родина!
В далях зеленых
Я никому про тебя не сказал.

Рыжие травы да ржавая птица,
Что не устанет над степью кружить.
Малая родина!
Чем тут гордиться?
Что в своем сердце до смерти носить?

Ветры родню разметают по свету.
Будут дома, где я жил, снесены.
Малая родина!
Что ж ты к ответу
Требуешь нынче, врываешься в сны?

Вместо асфальта пылают рябины,
Вместо газона блестит солончак.
Малая родина —
Край ястребиный!
Что ж ты мне сердце сжимаешь в кулак?

Топот табунный, кривые березы
Бьются о стекла и рвут провода.
Малая родина —
В сердце заноза.
Вынешь — и канешь во тьму без следа.

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Перед грозой, как перед взрывом,
Сосредоточено лицо
К полудню поседевшей ивы,
Сирени, вставшей за крыльцо.

Да и твоя душа до срока
Испила раскаленный зной
И заметалась одиноко,
Как стриж, над самую землей.

Прерывисто дышали камни,
Стонали пыльные кусты,
В одно сливаясь пониманье
И отрицанье духоты.

И все же мы дождалась гула,
А следом вспыхнула ветла,
Как гений — молния сверкнула,
Все озарила и ушла.

А что придет за ней? Спасенье?
Всесокрушающий потоп?
На всякий случай наши тени
В овраг нырнули, как в окоп.

НА ВЕРШИНЕ

Те, кто внизу, на нас глядят с опаской,
Но мы с тобою на подъем легки,
На скулах обозначив желваки,
Уходим вверх одною смертной связкой.

Как падали, над пропастью висели,
Околевали в поднебесной мгле,
Рассказывать не стоит. Мы у цели.
Мы выше всех сегодня на земле.

Мы выше всех!
Я камень пнул ногой.
Мы выше всех!
Я хрипло рассмеялся.
А камень падал. В облака стучался.
За ним внезапно ринулся другой.

Ободранную куртку зашивая,
Друг усмехнулся:

– Этим не шути! –
Мы жгли костер. Не ведая, не зная,
Что камень падал, громом обрастая,
Что в след ему,
Мой смех припоминая,
Лавина шла,
Тяжелая, шальная,
Сметая все, что встретит на пути.

ПЫЛЬНАЯ БУРЯ

Когда я степи распахал от края и до края,
Когда мой плуг, как острый меч, решил всех трав
судьбу,

Я заорал: “Играй, гармонь, мой подвиг
прославляя!”

Но ветер вдруг поднял вдали помятую трубу.

Он пел, протяжный и рябой, рыдая и стеная.
Тысячелетний смерч на стон явился над холмом.
И буря пыльная прошла, меня с земли сметая,
И небом стала вдруг земля, а небо— черным
дном.

Награда смертная нашла меня на диком поле,
Где степь дымила, до корней теперь обнажена.
И я кричал, вцепившись в них и скорчившись от
боли,
Но ветер в глотку мне вбивал мои же семена.

Неужто только этот след родной земле оставлю?
Неужто не увижу я ни солнца, ни звезды?
Безумный пахарь, я познал высокое бесславье.
Текли по черному лицу две светлых борозды.

НАДЕЖДА

Печально ветер выл в дуду,
Гусиной кожей крылось небо,
Пропела реквием труду
Природа над промерзшим хлебом.

Я зерна собирал в ладонь,
Они в ней остывали пеплом.
Сжег их карающий огонь,
Дабы душа моя ослепла.

Но там, где пала целина
И все-таки земля дышала,
Светились тихо три зерна.
Мы живы! Мы начнем сначала!

Надеждою спасен, пойму,
Как, то рыдая, то ликуя,
Свет кожей чувствовать сквозь тьму,
Глухую, страшную – любую.

* * *

У меня журавль в небе. У меня в руках синица.
Все мое давно — не скрою.
Что с моей землей случится,
То случится и со мною.

Не дай Бог, умру однажды... В небе журавля
подстрелят!
Море подожжет синица!
Что решу я напоследок,
То с моей землей случится.

ОГНИ ШАТУРЫ

Повестка с красной полосой.
Полоска красного рассвета.
Почти не смочено росой
Пороховое это лето.

Шинель. Погоны. Не игра!
В колонне “ЗИЛы”, “КраЗы”, фуры.
Полк запасной летит с утра
К огням немеркнушей Шатуры.

Пыль с темным пеплом пополам.
Саперных взрывов канонада.
Шатура! Ты – подобье ада,
Что из-под торфа рвется к нам.

В беспамятстве земля горит.
И нет ни роздыху, ни спасу.
И просит рядовой запаса:
“Дай сигаретку, замполит!”

Как будто сон... Но это я,
Припомнив давнюю отвагу,
Стою на линии огня,
И мне нельзя назад ни шагу.

Физиономия черна,
Обожжена, закалена
Огнем подземным и небесным.
Прелестный вид!

Сквозь дым отвесный
Мне странно вдруг осознавать
Уют заштопанной палатки,
Уменье сразу привыкать
К командам, резким и понятным.

“Гасить!” “Копать!” “Копать!” “Гасить!”
Как будто сон... Но в нем сольются
Желание скорей вернуться
Домой и жажда победить.

Мы семерых схороним там...
Но для кого уже завтра
В земле огонь таят внезапный
Чернобыль и Афганистан?

ПОЭМА О ПОЛЕ

I

День. Реки излука. Пекло.
Танк с крестом. Окоп. Ковыль.
Дым. Земля бела от пепла.
Поле. Пули. Пыль.

II

День. Жара. Реки излука.
Темный силуэт. Костыль.
Дым. Земля черна от плуга.
Поле. Память. Пыль.

* * *

Научи меня жить, молодой!
Вопрошать, не нуждаясь в ответе,
Насмехаться над горькой бедой,
Не ценить ни полушки на свете.

Научи меня жить не любя,
Что любил – причисляя к порокам,
С безоглядною верой в себя
И презрением к прежним урокам.

В тесноте тебе весело, зло,
Но душа наболела простором.
Ты кричишь: “Твое время прошло!”
Я шепчу: “Не спеши с приговором...”

Ты назвал мое время своим,
Я своим твое время считаю,
Признавая. Не я разжигаю
Между нами сражения дым.

Все ошибки мои — до одной!
Все мое — без остатка! — бесславье.
Научи меня жить, молодой,
Я креста на себе не поставил.

На единой галере гребя,
Ветер я принимаю на плечи.
Но когда мне дышать станет нечем,
Вся надежда моя — на тебя!

* * *

Мальчуганы с седыми висками,
Соловьи лихолетий глухих,
Поднимают забытое знамя,
Созывают под знамя своих.

Над болотом, над пыльным окопом,
Где погибнуть другим довелось,
Без ракет поднимается скопом
Молодая веселая злость.

Бить чужих, словно громом по крышам,
Жечь богов, низвергая в огне, —
Все равно! Только был бы услышан
Новый голос в родной стороне.

Степень риска и степень изыска
На безмене прикинув стальном,
Каждый машет безменом со свистом,
Словно вышел в поход с кистенем.

Но и ты не сжимайся в пружину,
Не пугайся, пускай и в душе,
Хоть тебе улюлюкает в спину
Соловьиная стая уже.

Да не ведает сила шальная
Одного, что открыто тобой, —
Соловьи не сбиваются в стаю,
Не поют ни в толпе, ни толпой!

* * *

В густых металлургических лесах
Да в зеркалах кривых стеклянных башен
Не заблудиться мне, как в трех соснах,
Невнятный шум нелепицы не страшен.

Пускай гудит чугунная листва,
Произрастая из металлолома.
Еще не все растрчены слова,
Душой и сердцем яростно искомы.

Еще не вся затоптана трава,
И журавли звенят под облаками,
Нам оставляя время и права
Земные соки чувствовать корнями.

Еще вернется эра ясных слов,
Грядет пора прямой и горькой речи.
Да! Век непредсказуем и суров,
Но каждый в нем, как атом, смыслом мечен.

И если мир спасает красота,
То это – пень не приметной сойки
С малинового темного куста,
А он не приживется на помойке.

Еще не раз огни свои изба
Для путника зажжет во чистом поле.
Прямая речь родной избы груба,
Но только в ней – спасение от боли.

* * *

Не сны мне снятся, а вода.
Я в жажде — как в тоске острожной.
Пью из верблюжьего следа,
Пью из колдобины дорожной.

Забыв колодцев журавли,
Оставив их в зеленом прошлом,
Потрескалось лицо земли,
Как будто старая подошва.

Моею солью солончак
Питает небеса задаром.
А сердце высохло в кулак,
Едва пригодный для удара.

Мне бы разбить сейчас в куски
Зной воспаленный, меднолобой.
Кто заявил, что у тоски
Зеленый цвет? Сюда его бы!

Но в плесках желтого огня,
Добычу выследив с талантом,
Напрасно смотрит на меня
С прищуром пожилой тарантул.

Дорога в пыльную пращу
Мой жребий завернула камнем —
Я или воду отыщу,
Или в мираж навеки кану.

* * *

Хотел, чтоб было море. Море было.
Хотел пролады. Облако легло.
Хотел любви. И женщина любила
Меня самозабвенно и легко.

Как я хотел, за изгородью древней
Пел мальчик. И лозы последний сок
Был горьковат. И хлопотал в кофейне
Всепониманья молчаливый бог.

Он дал две чашки. Но одна разбилась.
И он усмешку спрятать не сумел.
Как я хотел — так время торопилось.
Остановилось время — как хотел.

Зачем же все к моей сводилось власти,
И сам не знал я. Но парила плоть.
До счастья не хватало лишь несчастья,
Желать его — не приведи Господь!

Хотел, чтоб было море. Заштормило.
Хотел прохлады. Обжигает зной.
Хотел любви. Но та, что позабыла,
Во мне пылает раною сквозной.

* * *

Татьяне Ребровой

Я не веровал в силы свои,
Я уверовал горько отныне —
Отгремели мои соловьи,
Сдохли в сердце, заросшем полынью.

Полонен суетой да вином,
Не заметил, как дерзкие крылья
За спиной каменели крестом,
Покрываясь то солью, то пылью.

Но когда, свою ношу влача,
Пал я в беспросветную яму,
Ты взошла в мою жизнь, как свеча
В темноту опустевшего храма.

Ангел зеленоглазый, прости,
Не коснусь я тебя даже словом,

Алым платъицем прошелести,
Посмотри на меня, хоть сурово!

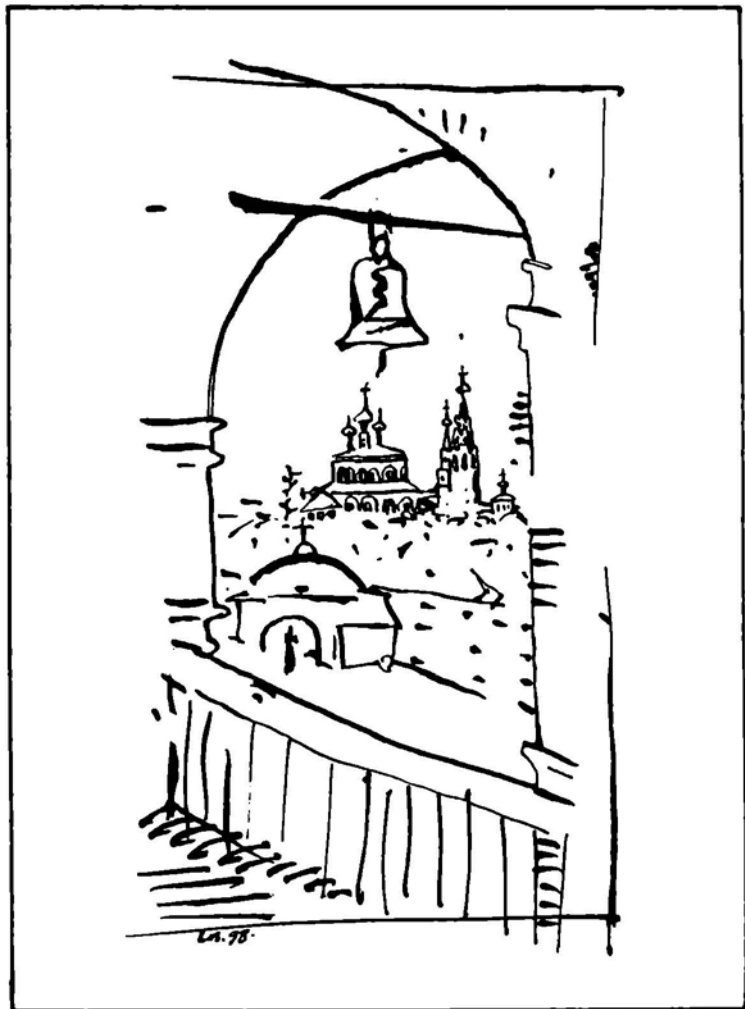
Это чудо мне не по плечу,
Ангел грешнику в свете не ровня.
Ты ушла — погасили свечу
Навсегда в запустелой часовне.

Но с креста почему же душа
На забытую свечку задаром
То и дело глядела, дыша
То тоскою, а то перегаром?

Чтоб стонала и выла она,
Под грехами великими билась
Или чтоб опустилась до дна
И очищенной ввысь устремилась?

Знать, с креста мою душу снимать
Той, что ангелом в платъице алом
В ней успела уже побывать,
Да забыла о том иль не знала.

И все же?..



ЮРЬЕВ ДЕНЬ

Суздаль. Звон до последнего свода!
Наша честь не сгорела дотла.
Юрьев день – золотая свобода.
Юрий Юрьев бьет в колокола!

Он поднялся наверх из подвала,
Горсовету не сват и не брат.
Что поделаешь! Если давала
Даже имя война наугад.

Да манила его колокольня
И тогда из пожара и тьмы.
Наверху только ветер и воля,
Только свет – ни тюрьмы, ни сумы.

Но душа, напоенная звоном,
Словно зноем столетий иных,
Отзывается воплю и стону
Или топоту конниц чужих.

Откликается брату и вору
И выводит из праха на свет.
Видит все, словно вран на заборе,
Поседевший за тысячу лет.

Что там? Это ступнями босыми
Евдокия шагает в метель.
Что там? Мрамор завозит Россия
На последнюю князю постель.

Суздаль – древнее сердце народа
Над Пожарским замрет, словно лед.
Что там? Мрамор на дачу Ягоды
С мавзолея Россия везет.

Что там? Суздаль колючкой увенчан.
Узник, взятый штыками в кольцо.
Он единственный Богу во френче
Правду выдохнет прямо в лицо.

Что там дальше? Веселый и жуткий
Вой, прорвавшийся в щели бойниц, –
Под конвоем поют проститутки,
Пташки двух образцовых столиц.

Что там дальше? Что видно в грядущем?
Но звонарь не услышал меня.
Он звонит, опьяняясь все пуше
Пенной брагою Юрьева дня.

* * *

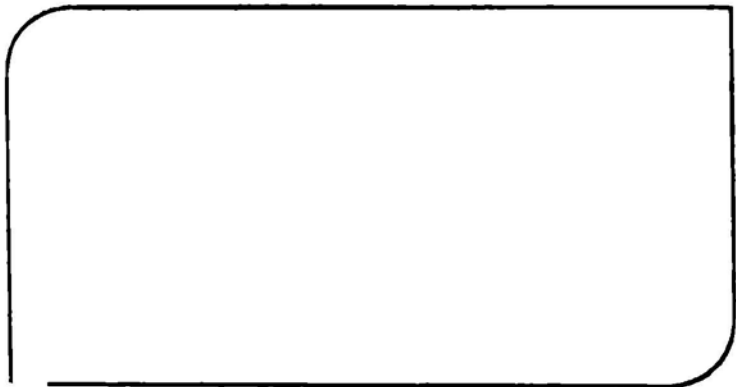
Песню напевая осторожно,
Сапоги повесив на плечо,
Пыльный и прямой, как подорожник,
По тропе шагает мужичок.

Он зачем веселою походкой
Устремился к городу босой?
Если пьет — то, может быть, за водкой.
А не пьет — тогда за колбасой.

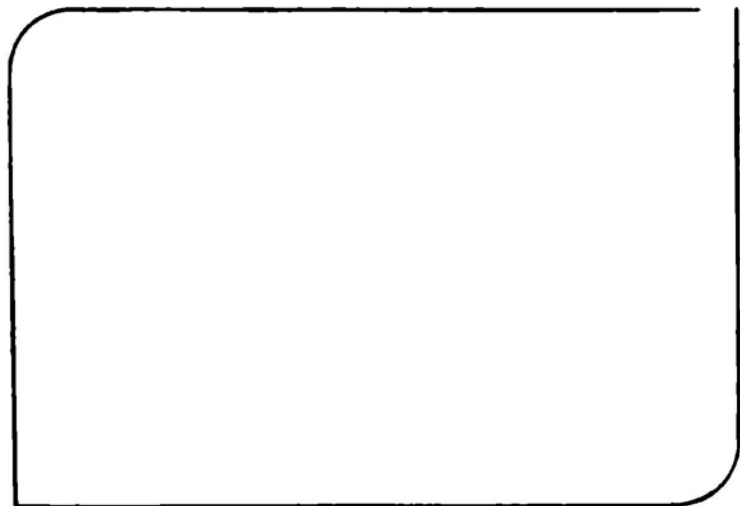
Вам-то до него какое дело!
Ах, попридержите языки,
Мол, о нем одном душа болела...
Выжил он заботам вопреки.

Многokrатно в жертву принесенный
Пламени решительных идей,
Выжил он, шагая непреклонно
Неприметной тропкою своей.

Он себя собою только мерит,
Он идет себе куда-нибудь,
Ни во что вокруг пока не веря,
Только в свой непостижимый путь.



Хранитель тела





БЕССОННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Всю ночь летели мотыльки в окно,
Пыльцу роняя на пол и на стены,
Как будто мне, всеильному, дано
В их судьбах обозначить перемены.

И я обязан быть среди ночей
Свидетелем трагедий посторонних,
Как будто не хватает мне своей...
Я встал. Я поднял голову с ладоней.

Я форточку закрыл. Моя рука
Не дрогнула. И все-таки упрямо
Вдруг просочились сквозь глухую раму
Два невеселых серых мотылька.

Отчаянье владело их судьбой.
Они летели к лампе близоруко.
Я протянул к ним милосердно руку.
Один погас. Затем погиб другой.

И опустился низко потолок.
Я их тельца прохладные потрогал.
Они просили помощи у Бога.
Что ж, я был Бог. Но я им не помог.

1964

В САДУ

Был плащ его серый забрызган
Малиной, смолой, звездопадом.
“Ты кто?” – “Я заведу жизнью.
В саду. За белой оградой...”

Толкнул я тесовые двери.
Там, в медленном царстве растений,
Потерлись сперва о колени
Цветы, как лохматые звери.

Затем улыбался шиповник.
Шептался, краснел почему-то.
И шмель с него падал в ладони,
Шалея от солнечной смуты.

Шумели деревья мятежно,
Вступали с подсолнухом в драку.
Скопивши тяжелую нежность,
Плоды проступали из мрака.

Однако на этой поляне
И самая малая грядка
Стояла на грани порядка,
Едва обозначенной грани.

Любая былинка и ветка
Тут к солнцу тянулась открыто,
Приглажена, но не пририта
Неспешной рукой человека –

Столь умной, что даже крапива
От нас не искала спасенья,
Горела в углу горделиво,
Свое понимая значенье.

Был каждый обласкан и признан
В саду, в цветнике, в огороде...
“Ты кто?” – “Я заведу жизнью.
Я милостей жду от природы”.

1964

ЛОВУШКА

Продал жизнь за полушку —
Нет иного пути.
Я попался в ловушку,
Из нее не уйти.

Словно бы из засады
Окружен эскадрон,
Истреблен без пощады,
Ни знамен, ни имен.

Всюду из-под рогожи
Ноги павших торчат.
Так за что ж ты нас, Боже,
Всех караешь подряд?

И зачем ты оставил
Одного трубача?
Чтоб на смертной заставе
Плакал он, хохоча?

Но труба заржавела
И не слышен мой хрип.
Даже Богу нет дела,
Что я здесь не погиб.

Полоумный и нищий,
В длинном сером пальто,
На родном пепелище
Я никто и ничто.

Лишь одна здесь отрада
В эти черные дни —
За могильной оградой
Все родные мои.

Дед, что пал за идею,
Мать, что снится живой,
Не услышат, надеюсь,
Мой придушенный вой.

Мне б они не простили
Одного — что при мне
Погибала Россия,
Заблудившись во мгле.

СПАСЕНИЕ

Татьяне Ребровой

Над Суздадем черным, седым, золотым,
На сводах небесного круга
Кислотные ливни зависли как дым...
Спасемся, вцепившись друг в друга!

К стенам монастырским стремится трава,
Не веря отравленным рекам.
Но мы на любовь не теряли права
В набегах жестокого века.

Любовь замурует нас в келье вдвоем,
Сюда не доносятся звуки
Над вечным покоем, под вечным крестом
Мгновенно созревшей разлуки.

Тянусь к твоему потайному огню
В глубоком разрезе рубахи.

Ты голову держишь в ладонях мою,
Как будто спасаешь от плахи.

Вопьюсь в твои губы обугленным ртом
Под шорох космической вьюги.
Уже и отпеты в ночи вороньем,
Спасемся, исчезнув друг в друге!

*ХРАНИТЕЛЬ ТЕЛА**Концерт для скрипки с духовым оркестром*** * **

Вовне и во мне разруха,
В золе душа прогорела.
Загнулся Хранитель Духа? Проснулся Хранитель
Тела?

Тело мое со скрипом вписывается в эпоху,
Так вписывается в хохот духового оркестра
скрипка.

Дура! Не чует момента.
А в каждой роскошной обители щелкают
предохранители,

Пистолеты пристреляны метко,
Сберегают телохранители и жулика, и президента.

Я под графою — “жители”.
Темной улочкой сгорблен, пробираюсь, как
отщепенец.

Меня славянин угробит или прирежет чеченец?
Или отнимут сумку с дарами голодному Телу?
Скрипка! Какая ж ты сука, что душой моей
завладела!

Нелепая, как пехота, невыносимая до зевоты,
Ах, быть бы мордоротом да охранять кого-то.
Ах, стать бы владельцем биржи, пусть и
опасность ближе —
Кину охране денег — у меня ж не голик да веник.

Я рылом в боссы не вышел.
Мне скрипка досталась с детства,
Алая, словно вишня, ненужная, словно сердце,
Зловредная, словно жалость, злосчастная, словно
милость,
Но все-таки мне досталась, как будто в меня
влюбилась!

Вцепилась — не отпускает, и что-то, словно собака,
Непостижимое знает среди озлобленья и мрака.

Ни денег нет, ни охраны, но не приемлю срама,
Душа, как свеча, упряма в теле, подобном храму.

* * *

Война... Война на пол-России.
В ней, от бессонницы черна,

Качала сына Ефросинья
У растворенного окна.

Сирень глядела ошалело,
Как целовала мать взасос
Мое светящееся тело —
От пят до венчика волос.

Без разума и без одежды
Над пайкой хлеба с лебедой
Оно сияло, как надежда,
И возвышало над бедой.

* * *

Я равнодушнее стал к языку птицы-синицы и
веток сирени.
Манит все меньше боярышник терпкий, тропа
посреди краснотала.
В небе не вижу я коршуна. Жук мне с налета
ударил в колени.
Я ничего не заметил. Что стало со мною? Что
стало?

Теплые звезды июля мне в кровь проникают и
дарят иное наитье.
Женщины смех полуночный пронзает меня
непонятым восторгом.

Прыщ на лице меня больше волнует, чем все
мировые события.

Ночью купаюсь в реке – сердце у самого горла.

Голым лежу на песке – кто меня обнимает
незримо,

Чьи это пальцы по мне пробегают, как жаркие
волны?

Плачу беззвучно. Без слез мое счастье неполно,
Горько к себе наполняется жалостью невыносимой.

Глупое тело мое на песке извивается, как при
напасти,

Части его растворяются в радостном, тягостном
целом...

Мальчик! Не плачь от томления – грех
сладооастрья,

Вовсе не грех, коль душа обнимается с телом.

* * *

Гремит музыка полковая.
Орут старшины на плацу,
Я свое тело забываю,
Оно здесь вовсе не к лицу.

Вернее, здесь лицо не нужно.
Тела зеленые звенят

И запевают марш натужно,
Как хмурый повелел комбат.

Мы вроде леса строевого,
Нам нет цены, пока равны.
И сапоги стучат сурово,
Всегда — в предчувствии войны.

К пилотке вскидывая руку
Под красным знаменем полка,
Ликует тело — в мясорубку
Не отправляют нас пока.

Но вновь грохочут медью трубы
И можно все-таки стерпеть
Насилье строя, окрик грубый,
Но душу окисляет медь.

И в этом, видимо, все дело,
Что ей не помешать теперь
Убийцей стать однажды телу
И кровью чуют жизнь — как зверь.

* * *

Если станут пытать, закричу и, возможно, заплачу,
Заплачу палачу не презреньем, признаньем вины.

Что мне делать, когда в моем теле от страха
заскачут
Тьмы испуганных клеток, как вздыбленные
табуны?

Я признался. Палач меня с дыбы снимает,
относит в солому,
Нежно смотрит в глаза и подносит мне ковшик
воды.

Его руки ласкают меня с непонятной истомой,
Словно он, а не я избежал неизбежной беды.

В чем же дело? С ума он свихнулся на славной
работе?

Но я понял, когда он со свистом и злобой дыша,
Мокрой плетью хлестал по моей разрываемой
плоти,

В нем самом разрывалась от боли и страха душа.

Столь же хрупок, как я, он простил мои слезы и
сопли,

А не то бы пришлось меня втоптывать в грязь и
навоз,

Чтоб слились в диком ужасе наши безумные
вопли,

Чтоб визжал он, мне пули пуская в затылок у
ржавых берез.

* * *

Бык и букашка совершенны,
Над ними труд закончил Бог.
Лишь я, вместилище Вселенной,
В несовершенстве одинок.

Цветок обрел и смысл, и радость,
И зверь, и тварь нашли покой,
Лишь мой обеспокоен разум,
Душа истерзана тоской.

Лишь я живу, как бы скрывая
Предназначение свое.
Что я? Природы мысль живая?
Иль мука вечная ее?

Но в тайном поиске итога
Пойму когда-нибудь и я:
Во мне природа ищет Бога
И лепит Бога из меня.

Да! Это мое тело — с брюхом,
С кишками, в мышцах и костях, —
Источником Святого Духа
Природе служит не за страх.

Ты все же Господь,
Но Тебе, как и нам, было важно узнать, что Ты
тоже телесен.

Потому я из тех, кто снимал Тебя позже с креста,
Кто стигматы Твои целовал, и прощенья просил,
и пощады.
И светила с лица Твоего неземная Твоя красота,
Но земная улыбка Твоя запеклась в
предвкушеньи улады.

С этой легкой улыбкой Ты смотришь
бессмертных канонов игру
В златоглавых церквах, и в просторных костелах,
и в узеньких кирхах,
Каждый год повторяя толпе потрясенной: “Я
сегодня умру.
А приду в воскресенье”. И в каждом вдруг
светишься тихо.

И тогда мне понятно, что храм не вовне, а во
мне.
Ты меня научил возлюбить свое бренное тело,
Чтоб хранилище Духа умело счастливо рыдать и
во тьме,
Чтобы солнце встречая, оно ликовать безутешно
умело.

Мы телесны с Тобою, мы прекрасно телесны с
Тобой.
В каждом жесте простом есть величие или
свобода.
Нам дано умереть. И дано нам воскреснуть
судьбой.
И дана во спасение страшная боль перехода.

* * *

Любовь не знает середины –
То жар, то лед, то снова зной.
Мы, как две скрипки, воедино
Сплелись в мелодии одной.

Одной, которой и не мнилось,
Кто был рабом, а кто рабой.
Ты на плече моем забылась
Моей закатною судьбой.

Мы так тела переплетали
И души так переплели,
Что все цветы на одеяле
Всегда, как в августе, цвели

Последней нежностью безумной,
Отважной горечью в крови,

Когда весь мир, пустой и шумный,
Не стоит ноготка любви.

* * *

Когда настанет час для рокового срока
И слягу невзначай в предсмертную постель,
Ты распростишься со мной, как будто ненароком,
Не торопи дожди, не торопи метель.

Пускай запомнит жизнь беспомощное тело,
Пускай помашет ей иссохшею рукой.
Ты помнишь, как оно всегда тебя хотело
И пело от любви, небесной и земной.

Как вздрагивало вдруг от сумасшедшей страсти,
Толчками силу всю свою даря тебе...
И вот оно лежит, увядшее, как астра,
И тлеет, как зола, короста на губе.

Осталось от него лишь тусклое свеченье,
Бессмысленный огонь прощального лица.
Пусть даст тебе Господь смиренья и терпенья
Не возжелать ему скорейшего конца.

Что ж. Нет уже меня, и ты совсем устала
Над мукою моей тревожно хлопотать,

Бог душу взял мою. Но тело трепетало,
Последнюю познать пытаюсь благодать.

В невидимых слезах дождись его исхода.
Пусть догорит огонь. Пусть оплывет свеча.
Душа моя не здесь. Она стоит у входа
Уже в иную даль. И плачет сгоряча.

Она себя поймет. И влажный куст сирени
Еще тебя найдет подобием души
Моей, что ждет тебя, сгорая в нетерпении,
Храни тебя, Господь, ко мне ты не спеши.

Пока подушку взбей дрожащею рукою
И радио во тьме тихонько прикрути.
Не плачь! Не плачь. Не плачь...
Мы встретимся с тобою,
Когда однажды вдруг воскреснем во плоти.

Март-апрель 1992 года

Юра носил очки, которые скрывали необыкновенно синие глаза в таких густых и длинных ресницах, что напоминали заблудившихся в лесу детей.

Он приехал в Москву из Петропавловска учиться в Литинституте, который дважды успешно не закончил. В графе “образование” было написано – среднее. А все, что делал, было почти всегда не по уму и знаниям тех, кто обладал так называемым высшим.

Мать без отца надрывалась в войну и послевоенные годы с двумя детьми. И надорвалась. Он до конца жизни не привык даже к яблокам. А на чем вырос, так в книжке об этом стихотворение “1945-й”.

А в другом месте: “Господи, миска пустой простокваши – а сколько надежды!”

Жизнь бедна, но зато прекрасна.
В телогрейке с дырой на боку
Голосую единогласно
Одинокому грузовику...

И за что только ветер жуткий
Вынимает душу мою?
Третьи сутки пусто в желудке.
Чтоб не сдохнуть – песни пою.

То ли руки морозом сводит,
То ли пуп прирастает к спине...
Не жалейте меня сегодня,
Я тогда был счастлив вполне!..

Надо мною просторное небо
И поля вокруг — благодать!
Я ни разу и сытым-то не был,
Так с чего же мне горевать?

Что было со страной, то было и с ним. Поднимал целину, всю жизнь вкалывал. Хоть в последние годы мы где-то немного отдохали, куда-то ездили. Жадно слушал о Крыме. Так и не сподобился увидеть даже. Мечтал этим летом съездить на Родину, по которой тосковал и много мне рассказывал. Даже этого горького нищего счастья — поклониться материнской могиле — и того Бог не дал.

У него была одна кровеносная система с тем, что называется Добро. Не видела, не знала и не знаю человека, равного ему в этом. Даже на свои солдатские копейки, служа в армии, ухитрялся опекать и подкармливать сирот из детдома. Отдавал все даром. Сам же все тяжело зарабатывал. Светлая душа, в свои двадцать с небольшим он не смог понять законов официальной литературы, и надолго ушел из нее, не снеся подлого поступка более опытных, поднаторевших в деловых интригах братьев по перу. Ушел, был отчаянно одинок.

Лист пожелтел. И разъехались дачники.
Окна задраены. Тропки затеряны.

Лес опустел. Оба мы, неудачники,
Свой разговор бесприютный затеяли.

Но не свистится мне и не лепечется,
Не шелестится. Я, видно, не в голосе.
Я одинок, словно все человечество
В грозном, почти неизведанном космосе.

Я ли с утра укрывался от города
В темной избе, еще прадедом рубленной,
Если свобода тоскует по гомону
Да по теплу толчеи или ругани?

Но электричка затихла последняя.
Пусто. Темно. И вольно всякой нечисти
В стекла стучаться,
тревожа посредника
Меж одиночеством и человечеством.

Талант брал свое. Столько было увидено, понято, и такой болью подкатило к сердцу и горлу, что не писать уже не мог.

Залп стихотворных подборок и поэм в журналах “Молодая гвардия”, “Новый мир”, “Москва”. Книги “Ценой любви”, “Путем зерна”, “След ветра” в конце 80-х. Наконец-то мог полностью отдаться любимому делу. Стал приходить заслуженный успех. Читал он великолепно. Выступления приносили радость. Господи, да он и читал, и пел прекрасно бархатным голосом. С юмором мог подделывать любой акцент и уморительно рассказывать смешные байки, анекдоты, ра-

зыграть любого. Он был артистичен. В нем чувствовалась порода. Но грянула перестройка, перелом в стране. За стихи хотя и не били, но и платить не платили. И человек, который на вопрос: кому сейчас нужны стихи? яростно отвечал: Мне! Этот человек снова получил ярмо далекого от поэзии труда и боль, что нет ни сил, ни времени писать. У Юрочки есть стихотворение “Перед грозой”:

Перед грозой, как перед взрывом,
Сосредоточено лицо
К полудню поседевшей ивы,
Сирени, вставшей за крыльцо.

Да и твоя душа до срока
Испила раскаленный зной
И заметалась одиноко,
Как стриж, над самую землю.

Прерывисто дышали камни,
Стонали пыльные кусты,
В одно сливаясь пониманье
И отрицанье духоты.

И все же мы дождались гула,
А следом вспыхнула ветла,
Как гений – молния сверкнула,
Все озарила и ушла.

А что придет за ней? Спасенье?
Всесокрушающий потоп?

На всякий случай наши тени
В овраг нырнули, как в окоп.

Нам нырнуть от той грозы, что была вокруг, было некуда. Как безжалостно перемалывало время его душу и тело, и с какой жалостью перемалывал его в жерновах своего переживающего за всех и вся таланта Юра, — все это в его посмертной книге. Его не стало в ночь на новый 1998 год.

Сердце, надорванное уже, все-таки разорвалось.

Говорят, если в прошлой жизни человек был ранен в сердце, то и в этой оно будет ранено. Юрочка даже писал об этом, еще не зная новейших для нашей страны учений:

Получил от тебя всего два письма,
Величальное и прощальное.
Не сведу с ума, не сойду с ума —
Не венчались мы на отчаянье.
Видно, был рожден я не для любви.
Мой бездомный путь — в поле ратное.
Если сталь гудит у меня в крови,
Верно, стрелами предки ранены.
Мне искать в дыму тропу к рубежу,
Где бывлые дни к сердцу тянутся.
А рябины кисть на груди держу,
Пусть печаль твоя мне достанется.

Он много знал, много предвидел, много пророчил в стихах.

Я выросла на развалинах барской усадьбы в бараке. Кругом была сплошная сирень. Старая. Она стала для меня символом памяти. Она была озвучена именами сгинувших поколений, и мы хотели над маминной могилой посадить сирень. Теперь она будет и над тобой, и надо мной. Детство началось с сирени, и жизнь кончится ею же. Но откуда ты это знал еще в те времена, когда мы не были вместе?

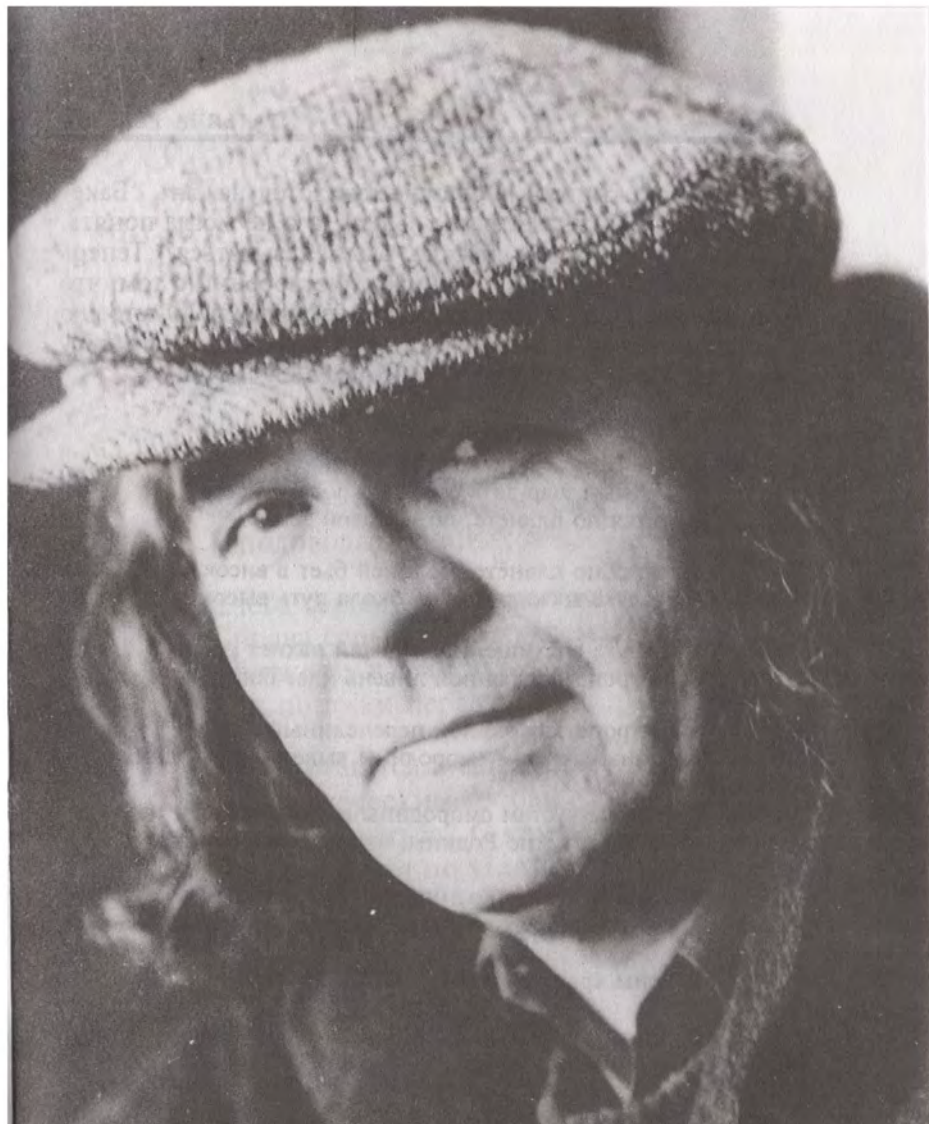
СИРЕНЬ

От окраины и до вокзала
Сплошь лиловые вспышки огня.
Две недели сирень полыхала,
Окликала, дразнила меня.

Все, как прежде! Да только я знаю,
Что ни ветки теперь не сомну.
Если даже одну обломаю,
То кого-то за нею вспутну.

Но, как прежде, бессонною птицей
Тень сирени стучится в окно,
Заставляя забыто томиться,
Забывать, что забыто давно.

Ну, сирень, разжигай свое пламя,
Коль тебе эта воля дана —
Опьянять и смеяться над нами,
Вызывая из тьмы имена!



Свою книжку Юра однажды хотел назвать “Бакены Лета”. Книжка тогда не вышла, а я не могла понять, почему именно так должна была называться? Теперь понимаю. Вот одно из ранних стихотворений о том, что он любил. Родину, в чью землю лег навеки, и лето, до которого так и не дожил. Так вот я называю твою книгу так, как ты хотел когда-то — “БАКЕНЫ ЛЕТА”

* * *

Огненный шар лета рожден в золотой золе,
Катится по планете, по молодой земле.

Катится по планете, молнией бьет в висок.
В воздухе восхищенном сокола путь высок.

В воздухе восхищенном спелой пахнет росой.
А по тропе забубенной ливень идет босой.

А по тропе забубенной перепелиный крик.
К темным кустам смородины вывел меня родник.

К теплым кустам смородины вывели облака.
Не отделить мне Родины, видимо, от родника.

Не отделить мне Родины, видимо, от родни.
Избы темны, как родинки. В окнах зажгли огни —

Бакены красного лета.

Явлена в тех огнях
Родина, словно яблоня, — в листьях, плодах, корнях.

ВМЕСТО АНКЕТЫ

“Не сидел.” “Не привлекался.”

“Не имею.” “Не имел.”

Жил да был. И не вписался

В половодье шумных дел.

Слева серый стал талантом,

Справа серый стал вождем,

Сбившись в стаи вокруг атлантов,

Как поганки перед пнем.

Кто стремится к загранице,

Кто к отеческим гробам.

С кем мириться? С кем делиться?

Чем кичиться по углам?

Вслед за кем бежать гурьбою?

По кому открыть пальбу?

Измордованы борьбою,

Все опять ведут борьбу.

Я один не вижу толку
В плеске криков и знамен.
Одиноко только волку,
Если вдруг не в стае он.

На кого идет охота?
Слева вой и справа вой
Падших ангелов пехота
Бьется в схватке ножевой.

* * *

В заветном кондовом погроме,
Который однажды грядет,
Врага разгадает по крови
Во мне молодой патриот.

Паду от него виноватым
Ни в чем или все-таки в том,
Что был смугловатым, носатым,
Кудлатым, очкастым...

Потом
Он крестик увидит нательный,
Смутится и выдернет нож,
Чтоб спрятать под серой шинелью:
“Он русский? Но как же похож!”

Но кровь, на снегу леденя,
Напомнит, сердца леденя, —
НИ ЭЛЛИНА, НИ ИУДЕЯ —
Бог ведал... Но нет и меня!

Толпе замирать, разбежаться,
Не зная, что я награжден
Причастностью к темному братству,
Где нет ни имен, ни племен.

Но вдруг антрополог в пустыни
Заветных грядущих веков
Воскликнет над черепом пыльным:
“Глянь! Русский лежит среди жидов.”

* * *

Все съедено, выпито напрочь.
Как деньги, исчезли друзья.
Заплакать от горечи на ночь?
Ан нечем – не то чтоб нельзя.

Посуды немытая горка.
И нет про запас ни шиша.
Осталась лишь черствая корка,
Что и прозывалась ДУША.

* * *

Когда в Отечестве разруха
Не по причине мятежа,
То лишь постанывает глухо
Неразоренная душа.

Казалось бы, такая малость —
В просторе, выжженном дотла,
Одна она и не сломалась,
Не вымерзла, не полегла.

Но только ей служить опорой
Самой себе или другим,
Коль над разором и раздором
Набата нет, невидим дым.

Одень в пиджак ее, пропахший
Дождем, дорогой, табаком,
Отправь к пропащим, павшим, падшим
Не пастырем — поводырем.

Внедри в толпу ее люблю,
В любую очередь втолкни,
Чтоб даже и тебя прессуя,
Твой свет почувяли они.

Ведь только укрепленью духа
Душа твоя еще нужна,
Когда в Отечестве разруха
И не исчерпана вина.

ЗАВИСТЬ

Верно, возраст мой опасен,
Коль все чаще снится мне
В черном поле трактор красный,
Рядом пахарь на стерне.

Курит жадно,
Дышит жарко...
Вот немного отдохнет,
Руки вымоет в солярке,
Кепку шумно отряхнет,
Подмигнет одной доярке,
Дальше весело пойдет.

Он пройдет в цветной ковбойке
Вдоль веселого села,
Независимый и бойкий.
– Как дела?
– Идут дела!

По плечу ему удача.
Что не так – переиначит,
На свой лад перевернет
Или заново начнет.
Сам везет – ему везет.

Землю всю вспахал покуда.
Победил.
Ему вослед
Ни смешка, ни смерча нет.

Я завидую отсюда
Парню.
Кто он и откуда?
Это я в семнадцать лет.

* * *

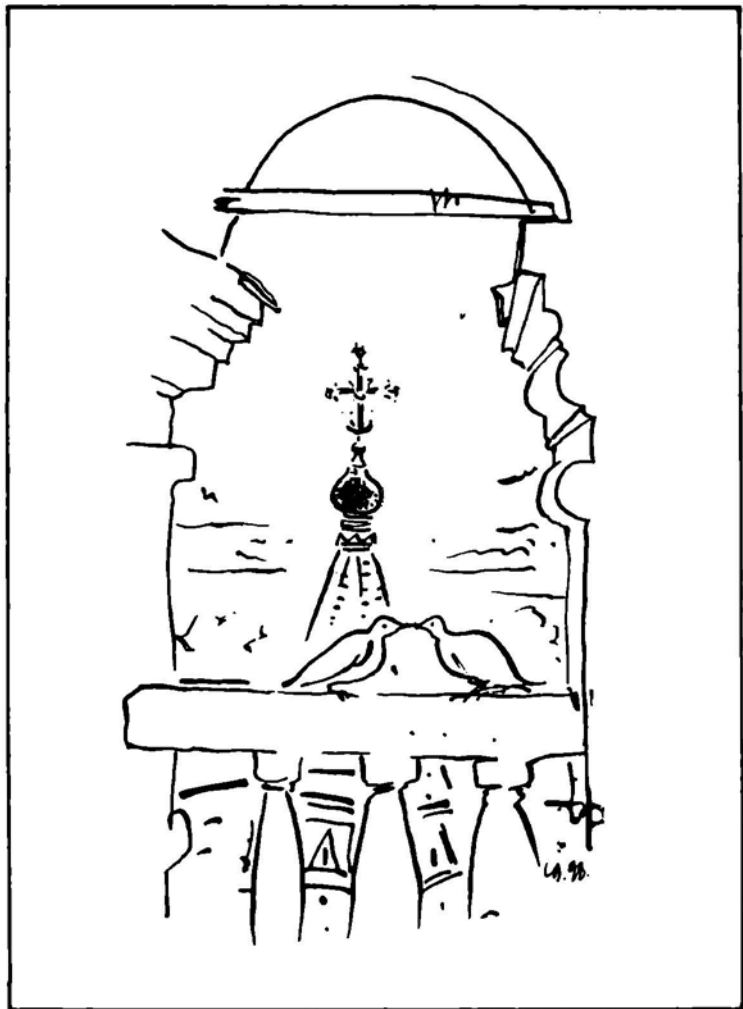
1

О, Господи, как горько уходить! –
Когда еще судьба на переломе,
Надеясь лишь сейчас осуществить
Мечту свою о прочном теплом доме.

2

Неужто все, что было, – суета,
Тщета луча, пронзившего пустыню?
Неужто и душа, как сирота,
Возьется только облачком в полыни?

Что помню я? Любимая пришла.
В ночи медовой сладкий стон акаций.
День жаркий. Неотложные дела.
Шум вод летящих. Шорох ассигнаций.



Звон пчел и ос. И с воплями “вперед!”
Учебный бой. В мазуте знойный полдень.
Рассвет над степью. Мать меня зовет
С улыбкой жалкой... Вот и все, что помню?!

3

О, Господи, как трудно уходить,
С моим грядущим и моим вчерашним
Связующую обрывая нить...
Как больно мне... О, Господи, мне страшно!..

... ВОЗВРАЩЕНИЕ

Тесный дом восьмиквартирный, от мороза голубой.
В нем витает дух кизячный — дымный, горький, но
живой.

Все ворота, все заплоты распилили на дрова.
Выжили! И веселее в репродукторе Москва.

Там, глядишь, отцы вернутся — двор отстроят (будь
здоров!)
Восемь ладных, восемь крепких да умелых
мужиков.

А покуда на побывку заглянул из них один —
После третьего раненья — Беломестнов Константин.

Трижды он железом вспахан, трижды нитками зашит.
Не убит. Ласкает сына да махорочкой чадит.

Соберет мальцов соседских, подмигнет — в глазах огонь,
А в руках легко танцует довоенная гармонь.

Мы хвостом за ним ходили, нам он щедро раздарил
И напевы песен новых, и пайковый сахарин.

К нам ревнует Лизавета — Константинова жена —
Потому что только ночью остается с ним одна.

Целый день он травит байки про войну — не про войну:
Про солдатскую одежду, про жратву да старшину.

— Вам смешны мои обмотки? Но смеяться не могли.
Это, братцы, — “сапоги, десять раз вокруг ноги!”

Две обмотки, как дороги, размотаю на ходу —
По одной Берлин достигну, по другой домой приду! —

Но недолго Лизавете прятать радость от подруг.
Час пробил, и песни-байки в нашем доме стихли вдруг.

Накрутил солдат обмотки и шагнул на серый снег.
И, не прячась, Лизавета громко всхлипнула при всех...

Май отцвел. Звенело лето. И — далекий взяв Берлин —
Воротился Константин. Из восьми отцов — один.

Сквозь притихший строй соседей тяжело шагал солдат.
Словно был отныне в чем-то перед ними виноват.

На завалинку кривую сел, немного помолчал.
Лизавету отодвинул и гармонь распаковал.

Запыхтела самокрутка. Глухо звякнула медаль.
Развернул гармонь с улыбкой, а извлек одну печаль.

Каменя и тоскуя, про Победу вел рассказ.
Запинался, слез не прятал от бессонных вдовьих глаз.

Но дымили на обмотках да на рыжих башмаках
Пыль и соль земли российской и земель немецких прах.

И одна вдова сказала: “Не терзайся, Костя, что ж...
Будем праздновать Победу. Кто погиб – тех не
вернешь!”

Стол накрыли возле дома. Всем, чем был богат наш дом.
Восемь сели в ряд фамилий – как одна – за тем столом.

Константин меж вдов смущенно до полночи восседал.
Ни себе, ни Лизавете – всем сейчас принадлежал.

И пока свет звезд небесных не зажегся в теплой мгле,
Семь солдатских полных стопок остывали на столе.

А в дому восьмиквартирном, от угла и до угла,
Убаюкана Победой, безотцовщина спала.

С УЛИЦЫ

Мы смотрим фильм “Падение Берлина”
В десятый раз...
В десятый раз подряд
Герои наши победят картинно!..
Никто ни разу не придет назад.

Зато пришлют трофейного “Тарзана”
Как странный и загадочный привет.
И за углом три шкуры за билет
С меня сдерут барыги-уркаганы.

Герои дней, лихих и ястребиных,
В кургузых кепках, смятых сапогах,

Они плюют сквозь фиксы зло и длинно,
У них ножи и бритвы в рукавах.

Они глядят насмешливо и колко,
Изнанку жизни зная назубок...
Вот-вот и мы приобретем наколки,
Узнаем, что такое “гоп” да “скок”.

Мы, дети улиц, грозных и пустынных,
К жестоким играм тянемся уже.
Атас! И враз показываем спины,
Восторг и ужас унося в душе.

На огороды злобные набег
И стыд нелепых краж, и торжество.
...О, жизнь! Скажи, как дикие побеги
На древе поколенья моего

Ты сберегла и все-таки взрастила
И с улицы опасной увела?..
Но сохранится немощь в нас и сила
Дичка, что к свету шел из тени зла.

И время поколений предыдущих
И вслед идущих, нас приняв едва,
Обманет миражами райских кушей
И на крутые бросит жернова.

Мы станем вдруг виною тех и этих
За наш провал и наш порыв шальной,
За то, что на вопросы не ответим
И правды не предложим ни одной.

Хоть все-таки не мы пошли в барыги
И честь с бесчестьем спутали не мы.
На нас висят тяжелые вериги
Почти что соучастников прямых.

И все-таки не убоимся следствий
За то, что свет восприняли во зло —
Мы были поколением последним
Из тех, что прямо с улицы пришло.

Там наш исток, где всё война спалила.
Полыню на пожарищах взойдя —
Мы лишь к закату стали главной силой,
Тяжелый груз на плечи громоздя.

Но в наших генах — шпалой или жердью
Лечь под колеса, только бы толкнуть
Мир к правде и свободе. Эта жертва
Наш объяснит и оправдает путь.

Там наш исток, где солнце жестко светит
И где победы ветер ледяной
Бьет нам в лицо. И кто вокруг в ответе
Перед сиротской дерзкою шпаной?

ФУТБОЛ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

Хоть что-то да смаху забыть,
Хоть в чем-то да сладко забыться —
Не все же беду ворошить,
Не всем же с войны воротиться.

Прикроем беде воротá,
Построим на поле ворóта,
К футболу проснулась охота –
Забота, восторг, маета.

Веселый, шершавый, с боков
Покрытый то пылью, то славой,
Не меч вдруг, а мяч на забаву
Собрал всех живых мужиков.

В артели по выделке кож
Найдешь их полсотни едва ли,
А тоже – команду даешь!
Играли, не ваньку валяли.

Весь город валит на футбол,
Идет к стадиону “Динамо”,
Где снова под выкрики: “Гол!”
Грядет поединок упрямый.

Три дня там играют финал,
Ничья не приходит победа.
Там поле директор с обеда
Известкою сам размечал.

Там скошенной пахнет травой,
Там, в центре запретного рая,
Оркестр гремит духовой,
Тайком мое сердце терзая.

Там ломится снедью буфет
И морсом торгуют от ОРСа,
Поштучно дают папиросы,
Но нету монет на билет.

Найду под забором дыру,
Нырну — и привет контролерам!
И втиснусь в толпу и в игру
С напором ее и простором.

Всё! Форвард выходит, как бог.
Всё! Беки ступают чугунно.
Свисток! И над каждой трибуной —
То едкий дымок, то смешок.

Скрипит костылем инвалид,
Душа его ищет опоры
В сутулом инсайде, который
Как дятел защиту долбит.

А справа бушует сосед,
В сердцах свою кепку срывая,
А слева роняют букет
Левкоев для левого края.

Тут цвет на трибунах один —
Как в поле, — защитный, потертый.
Невольно мелькнет крепдешин.
Бостон. И опять — гимнастерка.

Вокруг меня плечи тесны,
Они прикрывают небрежно
Птенца беспримерной войны,
Птенца безбилетной надежды.

В гнезде этом дымном сижу,
Дрожу то в восторге, то в страхе

И замороженно слежу
За богом в лиловой рубахе,

За чертом в длиннющих трусах,
За челкой, намокшей от пота.
Атака идет на ворота,
Противник висит на плечах.

Ах, Лева Акольшин, ударь,
Чтоб штанга в испуге гудела,
Чтоб Помозов Жорка – вратарь,
Взметнул свое нервное тело!

Весь мой стадион, как родня,
В насмешке и ропоте дружен.
Команды дерутся три дня
За кубок. Нам жребий не нужен!

Хотя бы сухарь под язык...
Трибуны топочут и свищут.
Есть пища важнее, чем пища.
– Давай! Нажимай, “Пищевик”!

Про хлеб с лебедою забыв,
До крови сбивая колени,
Суля перемены арене,
Наш форвард пошел на прорыв.

...Остались давно за чертой,
Неровной чертой известковой

И Лева Акольшин крутой,
И Помозов Жорка фартовый.

Исчезли на полном ходу
В атаке до верного гола...
Такого не будет футбола,
Как в сорок последнем году!

ДОМ ПОСТРОЮ...

Прорастает полынью
В моей памяти
Город далекого детства.
Дымом тянет с родной стороны.
За сиротство и бегство
Лишен я наследства –
Все дома, где я жил, снесены.

Словно вырублен сад,
Лишь дымятся забытые корни
Под щебенкой, золою да битым стеклом.
Но и в горсточке пепла
Чертеж я внезапно припомню,
Эту книгу построю –
Как собственный дом.

Буду рыть я фундамент,
Как рыл в Забайкалье окопы,
Где учебные стрельбы
И гордому духу страшны.
Буду бревна таскать на хребте

По заснеженным тропам,
Как таскал, надрываясь,
К магистралям железной страны.

Будут руки и сердце мое
То в горючей смоле, то в порезах,
Будет вера моя остывать,
Чтобы снова очнуться в бреду.
Возведу я свой дом
И покрою веселым железом,
Чтоб гремело от молний
И в небе мою отражало звезду.

Возле дома я землю вспашу,
Как пахал на целинном просторе,
Взбороню я горячую пашню
Шершавой и нежной рукой,
Чтоб рябина для матери
Выросла на косогоре
И любимую песней
Ее охраняла покой.

Я цветастые стены обклею
Портретами предков далеких,
Пожелтевшими фото
Разбросанной в мире родни,
И наполнится светом и болью
Мой дом одинокий,
И бесстрашно зажжет
В своих окнах былые огни.

Кто придет на огонь?
Мотылек? Бесприютная птица?
Странник? Или судьба постучится в окно?
Мне узнать не дано.
Все четыре стены, как четыре границы,
Дому настежь по первому зову
Открыть суждено.

* * *

Бросил окурок – сгорела тайга золотая.
Звери ревели безумно. И небо упало в огонь.
Белые гуси до срока на юг улетаю,
Бредили порохом, всполохом жарких погонь.

Бросил любимую – парус оборван и скомкан.
Реки и ветры неслышно сменили теченья свои.
И никогда поезда не приходят из Томска.
И никогда с того дня не поют соловьи.

Бросил мечту – и высокие звезды ослепли.
И звездопада шального внезапно настала пора.
Гибнут планеты июля в светящемся пепле.
В серые сумерки город оделся с утра.

Что-то, выходит, я в мире стремительном значу,
С каждым поступком моим что-то вдруг изменяется в
нем.

Но почему же бессильно я плачу и прячу
Длинные слезы свои под широким зонтом?

Я живу в этой скорбной стране, то ли полублатной, то
ли полувоенной,
Верю в светлое завтра — соплив или вшив.
Вдоль военной тропы прорастаю — сталь и шлак в моих
генах.
Но, поверьте, в цветенье и пыльный репейник красив.

Для меня в старом парке гремят духовые оркестры,
Обо мне пионерские горны трубят над зацветшим
прудом,
Это мне с постамента на прощание с нищенским
детством
Улыбается тайно огромная дева с веслом.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Т. Реброва. Предисловие</i>	5
--------------------------------------	---

Предзимье

«Предзимье вышло искусство...»	13
Храм земледелия	15
Храм всех скорбящих твердой власти	17
Сплав леса	19
«Я жаркое лето свое промотал без остатка...»	21
«Я к воле, как будто в неволю...»	23
«Пора ль искать, как при потопе...»	26
«Не решился на злобу и выбор...»	28
Путь домой	31
«Может быть, где-нибудь...»	33
«Метель была почти бесснежной...»	34
«В теплую морду целую коня...»	36
«Осушу твои слезы губами, изопью голубую истому...»	38
«В полыни храм. Часовенки косые...»	40

Имена и даты

«Прилечу издалека...»	45
1944-й	47
1945-й	49

Дед Гусинский	51
Чеченец	54
<i>Выдержка из письма Ю. Гусинскому из Грозного</i>	56
Мать	58
Пятый лог	60
1954-й	63
1960-й	65
Старшина Константинов	67
1964-й	69
1974-й	71
1978-й	73
1986-й	76
Песнь о пошаде. 1988-й	79

Весеннее время

«На юг от железной дороги, на юг от разлуки моей...»	99
«От Петропавловска до Павлодара...»	100
Борозда	102
«Жизнь бедна, но зато прекрасна...»	104
Байга	106
Баянист	108
«Не знаю, когда начинается день!...»	110
Ожидание	111
Венчанье	113
Видение	116
В строю	118
Рытье окопа	120
Дамский вальс	122
Взрыв	124
Полигон	126
«В Сухом логу не увядают листья...»	127
«Чугунные сваи вбиваю...»	129

След ветра

«Проклятье мне! Я выпил этот яд...»	133
Малая родина	134
Перед грозой	136
На вершине	138
Пыльная буря	140
Надежда	142
«У меня журавль в небе. У меня в руках синица...»	143
Огни Шатуры	144
Поэма о поле	146
«Научи меня жить, молодой!..»	147
«Мальчуганы с седыми висками...»	149
«В густых металлургических лесах...»	151
«Не сны мне снятся, а вода...»	153
«Хотел, чтоб было море. Море было...»	155
«Я не веровал в силы свои...»	157

И все же?..

Юрьев день	161
«Песню напевая осторожно...»	163

Хранитель Тела

Бессонный свидетель	167
В саду	169
Ловушка	171
Спасение	173
Хранитель Тела. Концерт для скрипки с духовым оркестром	175
Т. Реброва. Послесловие	187

Вместо анкеты	195
«В заветном кондовом погроме...»	197
«Все съедено, выпито напрочь...»	199
«Когда в Отечестве разруха...»	200
Зависть	202
«О, Господи, как горько уходить!...»	204
... Возвращение	207
С улицы	209
Футбол в Петропавловске	211
Дом построю	215
«Бросил окурок – сгорела тайга золотая...»	217
«Вдоль военной тропы – развалюхи, землянки, общаги...»	218

Юрий Яковлевич Гусинский

БАКЕНЫ ЛЕТА

Стихотворения и поэмы

Ответственный за выпуск

Б.Н. Романов

Художник В.Н. Сергутин

**Набор А.Ю. Хесина
Макет и техническое редактирование
Л.А. Шелковой**

Издательская лицензия ЛР № 070302 от 30.07.97.
Подписано в печать 25.03.98. Формат 70×108/32.
Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Заказ № 1287.

115598, Москва, а/я 16.
Издательство «Ключ». Тел.: 329-22-68; 243-57-25.

**ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.**